# Теодор Герцль

# Обновленная земля

## ТЕОДОР ГЕРЦЛЬ.

## ОБНОВЛЕННАЯ ЗЕМЛЯ (ALTENEULAND)

Если захотите, это не будет сказкой…

## КНИГА ПЕРВАЯ.

ОБРАЗОВАННЫЙ И ОТЧАЯВШИЙСЯ ЮНОША I

Д‑р Фридрих Левенберг в печальном раздумье сидел в кофейне за круглым мраморным столом. Это была одна из старых уютных кофеен на Альзергрунде, которую он посещал еще будучи студентом. Он приходил туда ежедневно, около пяти часов, в течение многих лет, с неизменной аккуратностью ретивого чиновника. Бледный, болезненный кельнер почтительно кланялся ему. Левенберг вежливо кланялся такой же бледной кельнерше, с которой никогда не разговаривал. Затем он садился за круглый стол. пил свой кофе и читал все газеты, которые кельнер предупредительно подавал ему.

Просмотрев ежедневные и еженедельные газеты, юмористические листки и технические журналы, что отнимало у него обыкновенно часа полтора, он возобновлял нескончаемые беседы с приятелями или же мечтал.

Но приятные дружеские беседы уже отошли в область воспоминаний, и в настоящее время ему оставались на смену чтению лишь одинокие мечты. Оба приятеля, в течение долгих лет, проводившие с ним в этой кофейне незабвенные вечерние часы, умерли в последние месяцы.

Оба были старше его, и один из них, Генрих, перед тем, как пустил себе пулю в лоб, писал Левенбергу, что и «хронологически, так сказать, вполне естественно, что они раньше его разочаровались в жизни» – второй, Освальд, уехал в Бразилию, чтобы принять участие в устройстве колонии для еврейского пролетариата и вскоре умер там от желтой лихорадки.

И вот, несколько месяцев уже Фридрих Левенберг сидел один за старым столом, ни с кем не разговаривал и, одолев ворох газет, уходил в свои одинокие мечты

Он чувствовал себя слишком утомленным жизнью, чтобы заводить новые знакомства, точно был не двадцатитрехлетний молодой человек, а старик, много раз уже терявший близких людей.

И он сидел один и неподвижно смотрел в голубоватый туман, застилавший далекие углы зала.

Вокруг биллиарда, в задорных позах, с длинными киями в руках, стояло несколько молодых людей. Вид у них был далеко не угнетенный, хотя они были в таком же положении, как и Левенберг: это были начинающие врачи, новоиспеченные юристы, только что дипломированные инженеры. Все они прошли высший курс наук, а делать нечего было. Большинство из них были евреи, и если они не играли на биллиарде или в карты, то обыкновенно вели сокрушенные беседы о том, как трудно в «наше время» устроиться. И в ожидании счастливой перемены сульбы убивали «наше время» беспрерывной игрой.

Левенберг и сожалел и завидовал этим беспечным молодым людям. Это были в сущности те же пролетарии, но на другой ступени общественной иерархии; жертвы ошибочного взгляда, царившего лет двадцать, тридцать тому назад в средних слоях еврейства: сыновья не должны уже быть тем, чем были их отцы. Дальше, дальше от торговли, от афер!

И новые поколения устремились к свободным профессиям. В результате получился плачевный переизбыток людей с высшим образованием, которые не находили занятий; для скромной трудовой жизни они уже не годились, на чиновнические карьеры, как их товарищи‑христиане рассчитывать они не могли и представляли собою, словом, товар, на который не было спроса. При этом у них были сословные обязанности, кичливое сословное самосознание и совершенно бесценные титулы. Те, у кого были какие либо средства, постепенно проживали их или жили на средства отцов. Другие высматривали для себя «хорошую партию» с приятной перспективой рабского существования на жаловании у тестя. Третьи пускались в беспощадную и не всегда опрятную конкуренцию в профессиях, создающих якобы людям более видное положение, чем торговля и ремесла. И получалось странное и печальное зрелище: люди, не желавшие быть обыкновенными купцами, пускались в качестве «университетских» во всякие аферы; лечили секретные болезни, вели темные процессы. Многие хлеба ради стали заниматься журналистикой и торговали общественным мнением. Другие толкались в народных собраниях, метали фейерверки звонких боевых фраз, с целью обратить на себя внимание и завязать партийные связи, которые могли бы пригодиться поздней.

Левенберг не избрал ни один из этих путей. «Ты не годишься для жизни» – говорил ему однажды Освальд, перед отъездом в Бразилию – ты слишком брезглив. Надо уметь проглотить какую‑нибудь мерзость, грязь! А ты… ты благородный осел! Ступай в монастырь, Офелия! Все равно, никто не поверит тебе, что ты порядочный человек, потому что ты еврей… Так и важничать нечего! Свои наследственные гроши ты съешь раньше, чем получишь право практики, И тогда тебе все таки придется начать с того, что тебе претит – или повеситься. Прошу тебя, купи себе веревку, пока у тебя есть еще гульден. На меня тебе рассчитывать нечего. Во‑первых, меня скоро здесь не будет, во‑вторых, я тебе друг».

Освальд уговаривал его ехать с ним в Бразилию, но у Левенберга не хватило решимости уехать из Вены. Истинную причину отказа он своему другу не объяснил, и друг его уехал один в чужую страну, где ждала его преждевременная смерть.

Это была белокурая причина, милая и прелестная… Но Левенберг ни разу не отважился говорить со своими друзьями и об Эрнестине. Он боялся шуток над своим робким, едва распустившимся чувством. А теперь обоих друзей уже нет, и он не мог, если бы даже хотел, спросить у них совета и участья. Это была сложная, сложная история… И он старался представить себе, что бы они сказали, если бы сидели здесь на своих местах, за круглым столом. Он закрыл глаза и воображал себе разговор:

– Друзья мои, я влюблен… нет, я люблю

– Несчастный, сказал бы Генрих.

А Освальд сказал бы:

– От тебя всякая глупость станется.

– Это даже не глупость, дорогие друзья, это безумие. Ее отец, господин Леффлер, вероятно, высмеял бы меня, если бы я попросил у него руку дочери. Я всего только кандидат прав с сорока гульденами месячного жалованья. У меня ничего, ничего больше нет. Последние месяцы окончательно разорили меня. Несколько сот гульденов, оставшихся от моего наследства, истрачены. Я знаю, это было безрассудно так транжирить… Но я хотел быть подле нее, видеть ее лицо, слышать ее милый голос… И я все лето ездил в курорт, где она жила. Потом театры, концерты. И чтобы бывать в ее обществе, я должен был прилично одеваться. А теперь у меня ничего нет, а люблю я ее по прежнему, нет… нет, больше чем когда бы то ни было.

– Что же ты намерен делать? – спросил бы Генрих.

– Я хочу сказать ей, что я люблю ее и просить ждать меня года два, пока я создам себе какое‑нибудь положение.

И он услышал, как наяву насмешливый хохот Освальда:

– Как же! Как же! Станет Эрнестина Леффлер ждать тебя, голь перекатную – ха, ха, ха!

Но кто‑то действительно громко смеялся подле Фридриха Левенберга и он изумленно отрыл глаза. Перед ним стоял Шифман, молодой человек, служащий в банке, с которым Фридрих познакомился в доме Леффлеров, и смеялся от всего сердца:

– Вы, верно, поздно легли вчера, доктор, и плохо выспались – вас уже клонит ко сну…

– Я не спал – смущенно сказал Фридрих.

– Сегодня опять засидимся. Вы ведь пойдете к Леффлерам?

Шифман непринужденно сел за стол. Фридрих не питал большой симпатии к этому молодому человеку, но терпел его, потому что мог говорить с ним об Эрнестине и часто узнавал от него, в какой театр она намерена пойти. Шифман в известном отношении был незаменим, и им очень дорожили во многих домах: он был хорошо знаком с театральными кассиршами и ухитрялся доставать билеты на самые недоступные представления. Фридрих ответил ему:

– Да, я сегодня также приглашен к Леффлерам.

Шифман взял в руки газету и воскликнул:

– Но, это удивительно!

– Что именно?

– Да вот, это объявление!

– А, вы и объявления читаете – сказал Фридрих, иронически улыбаясь.

– Как это «и объявления»? – ответил Шифман. – Я читаю преимущественно объявления. – Это самое интересное в газете после биржевых известий…

– Да? Я ни разу в своей жизни не читал биржевых известий…

– Ну да, вы!.. Но я! Мне достаточно только взглянуть на курс и я опишу вам положение всей Европы… А затем, объявления… Вы и представить себе не можете, что иной раз можно в них вычитать… Словно, вы на рынок какой‑то приходите. Продаются вещи, продаются люди… Да! В жизни, собственно говоря все продается, цена только не всегда и всем доступна. Когда я просматриваю отдел объявлений, я всегда узнаю всевозможные новости… Надо все знать. На всякий случай… Но вот это объявление я вижу уже дня два и‑и… ничего не понимаю!

– На иностранном языке?

– Да вот, прочитайте!.. – Шифман протянул ему газету и указал на коротенькое объявление, гласившее:

«Ищут образованного, разочарованного в жизни молодого человека, согласного сделать последний опыт над своей неудавшейся жизнью. Предложения адресовать в главный почтамт Н.О.Боди».

– Да, в самом деле – сказал Фридрих – странное объявление. Образованный и разочарованный в жизни молодой человек.. Таких, вероятно, не мало! Но следующая фраза осложняет дело. До какого отчаяния должен дойти человек, чтобы подвергать свою жизнь последнему опыту.

– И он, очевидно, не нашел еще такого человека, этот господин Боди. Я вижу объявление уже не в первый раз. Хотел бы я однако знать, кто такой этот Боди.

– Это никто.

– Как… никто?

– Н.О.Боди – Нободи. Никто по‑английски.

– Ах, да… По‑английски… Мне и в голову не пришло… Надо все знать, на всякий случай… Однако, нам пора идти к Леффлерам, если мы не хотим опоздать… Сегодня надо явиться во время.

– Почему именно сегодня? – спросил Левенберг.

– Не могу, к сожалению, сказать… Для меня скромность – вопрос чести! Но во всяком случае, готовьтесь к сюрпризу… Кельнер, получите!

Сюрприз? У Фридриха сердце сжалось тоскою смутного предчувствия…

Выходя вместе с Шифманом из кофейни, он заметил в подъезде мальчика лет десяти. Он был в легоньком сюртучке и плотно прижав руки к туловищу, топал ногами по снегу, залетевшему под навес. В его прыжках было даже что‑то веселое и смешное, но Фридрих видел, что он в дырявых сапогах и весь дрожит от холода. Подойдя к фонарю, Левенберг вынул из кошелька три медных крейцера и дал их мальчику. Мальчик взял деньги, тихим дрожащим голосом сказал: «благодарю» – и мгновенно исчез из виду.

– Как? Вы даете милостыню уличным попрошайкам? – негодующим тоном воскликнул Шифман.

– Не думаю, чтоб этот мальчик удовольствия ради торчал на улице в декабрьскую ночь… И мне кажется, что это был еврейский мальчик.

– Тогда пускай обращается в еврейский комитет, в общину, а не бродит по вечерам, вокруг кофеен.

– Не волнуйтесь, Шифман, ведь вы ему ничего не дали.

– Милый доктор – внушительно ответил Шифман – я член общества борьбы с нищенством и плачу ежегодный взнос – целый гульден.

II

Леффлеры занимали второй этаж большого дома на Гонзагассе. Внизу помещались суконные склады фирмы «Морис Леффлер и К°».

Войдя в переднюю, Фридрих и Шифман поняли по множеству пальто и ротонд на вешалке, что общество в этот вечер несравненно многочисленнее обыкновенного.

– Целый магазин готовых платьев –заметил Шифман.

В гостиной было несколько человек, которых Фридрих уже знал. Незнаком ему был только лысый господин, который стоял у рояля, подле Эрнестины, и как показалось Левенбергу, улыбался и разговаривал с ней с непринужденностью, недопустимой при простом хорошем знакомстве. Молодая девушка приветливо протянула руку новому гостю:

– Доктор Левенберг, позвольте вас познакомить. Леопольд Вейнбергер…

– Шеф фирмы Самуэль Вейнбергер и сыновья, в Брюнне, –торжественно и сияя от удовольствия добавил папаша Леффлер.

Молодые люди любезно пожали друг другу руки и Фридрих заметил при этом, что шеф брюннской фирмы заметно косит и руки у него потные. Наблюдение это нисколько не огорчило Фридриха, потому что мгновенно рассеяло мысль, мелькнувшую в его голове, когда он только вошел. Эрнестина и этот человек – это была дикая мысль!

Она стояла перед ним стройная, изящная, грациозно склонив прелестную головку и никогда еще не казалась ему такой обворожительной… Но он должен был отойти от нее, так как приходили новые гости и она встречала их. Только Леопольд из Брюнна назойливо торчал все время подле нее.

Фридрих решил навести справку у Шифмана.

– Этот Вейнбергер, вероятно, старый знакомый Леффлеров?

– Нет – ответил Шифман – они всего четырнадцать дней знакомы… Но.. это прекрасная суконная фирма.

– Что же прекрасно, Шифман, сукно или фирма? – спросил Фридрих, обрадованный и утешенный словами Шифмана, потому что человек, с которым Эрнестина всего четырнадцать дней знакома, не может же, очевидно, быть ее женихом.

– И то… и другое – сказал Шифман. – Самуэль Вейнбергер может достать денег сколько бы ни пожелал и за четыре процента… Первый сорт, понимаете! Вообще, здесь сегодня отборное общество! Видите, вот этот худощавый, пучеглазый, это доверенный барона Гольдштейна. Отвратительнейший господин, но весьма уважаемый.

– За что же?

– Как, за что? За то, что он доверенный барона Гольдштейна. А этого с седыми бакенбардами вы знаете? И этого не знаете? Да что вы, с луны свалились? Это известный спекулянт Лашнер, один из крупнейших биржевиков. Какая‑нибудь пара тысяч акций для него – самое пустяшное дело. Теперь он очень богат. Я б охотно поменялся с ним мошной. Но будет ли у него что‑нибудь через год я ручаться не могу.. Сегодня же, супруга его в огромных бриллиантах, и все дамы завидуют ей.

Фрау Лашнер и еще несколько ослепительно разряженных дам сидели в другом углу гостиной и страстно спорили о шляпах. Мужчины были еще в сдержанном, предшествующем закуске, настроении. Некоторые, по‑видимому, знали что‑то о предстоящем сюрпризе, на который намекал в кофейне Шифман и таинственно перешептывались. Фридриху было тяжело на душе… В этом обществе он играл после Шифмана самую незначительную роль. Обыкновенно он этого не замечал, потому что Эрнестина всегда сидела подле него, когда он приходил. В этот же вечер, она ни словом, ни взглядом не обращалась к нему. Шеф брюннской суконной фирмы был, очевидно, весьма занимательный собеседник. И еще одно обстоятельство угнетало Фридриха. Он и Шифман были единственные мужчины, явившиеся не во фраках и смокингах, а в сюртуках, и это внешнее отличие выделяло их, как париев из блестящего сонма гостей. Он охотно совсем ушел бы отсюда, но у него не хватало решимости…

Большая гостиная была уже переполнена. Но, по‑видимому, еще ждали кого‑то. Фридрих обратился с вопросом к своему товарищу по несчастью. Шифман и на этот счет был вполне осведомлен, так как слышал объяснение из уст самой хозяйки.

– Ждут еще Грюна и Блау – ответил он.

– Это что за птицы? – спросил Фридрих.

– Как! Вы не знаете Грюна и Блау? Самые остроумные люди в Вене! Ни одно собрание, ни одна вечеринка не обходится без Грюна и Блау. Одни говорят – Грюн остроумнее, другие говорят – Блау. Грюн сильней в каламбурах, Блау мастер высмеивать людей. Он получил уже за что немало пощечин на своем веку, но это его не смущает. Его щеки от пощечин не пухнут. Их обоих очень любят в высшем еврейском обществе… Но друг друга они терпеть не могут. Да это и понятно –конкуренты!

В гостиной движение.

Приехал Грюн, длинный, худощавый мужчина с огромными, далеко отстоящими от головы ушами, которые Блау назвал «необрубленными», потому что верхние края их не сгибались к ушной раковине, а плоско торчали в пространстве.

Мать Эрнестины встретила остряка приветливым укором:

– Почему так поздно?

– Поздней никак не мог! – с юмором ответил он. Гости, слышавшие эту фразу, рассмеялись. Но лицо юмориста мгновенно омрачилось: в гостиную вошел Блау. Это был человек лет тридцати, среднего роста, с гладко выбритым лицом и большим дугообразным носом, на котором плотно сидело пенсне.

– Я был в оперетке – заявил он на первом представлении. И после, первого акта ушел.

Сообщение вызвало заметное оживление. Дамы и мужчины окружили Блау, который докладывал:

– Первый акт сверх всякого ожидания не провалился.

Фрау Лашнер властно крикнула мужу: «Морис, я хочу завтра же смотреть ее».

Блау продолжал:

– Друзья либреттистов прямо в восторге…

– Так хороша оперетка? – спросил Шлезингер, доверенный барона Гольдштейна.

– Напротив, так она плоха – пояснил Блау – друзья авторов тогда только радуются, когда пьеса плоха.

Сели за стол. Большая столовая едва вмещала собравшихся в этот вечер гостей. В течение нескольких минут звон посуды, стук вилок и ножей совершенно заглушал голоса. Наконец, Блау крикнул через стол своему сопернику:

– Грюн, не кушайте так громко! Можно подумать, что у вас зубы от лихорадки стучат.

– Вернее, от страха за вас, как бы вы не подавились от зависти.

Поклонники Грюна смеялись. Поклонники Блау нашли остроту бледной.

Но внимание гостей было неожиданно отвлечено от остряков. Пожилой господин, сидевший подле г‑жи Леффлер, возвысив немного голос, говорил:

– У нас в Моравии положение евреев не лучше. А в маленьких городках евреи прямо в опасности. Немцы недовольны чем‑нибудь –о ни бьют у евреев окна. У чехов что‑нибудь не ладится – они врываются к несчастным евреям. Бедняки начинают выселяться, но не знают куда, им ехать.

– Мориц, – громко произнесла в это время г‑жа Ляшнер, – я хочу после завтра в Бургтеатр!

– Оставь меня в покое, небрежно ответил ей муж. – Д‑р Вайсс рассказывает нам, каково там у них в Моравии… фи, как это не хорошо!

Самуил Вейнберг, отец Леопольда Вейнберга, присоединился к разговору:

– Вы как раввин, доктор Вайсс, смотрите на все слишком мрачно.

– Вайсс… Белому все представляется черным – сказал один из остряков.

Острота, однако, прошла незамеченной.

– На своей фабрике я прекрасно себя чувствую, – продолжал Самуил Вейнбергер – В тех случаях, когда у меня затевают скандалы, я прибегаю к содействию полиции, или местного гарнизона. Как только чернь завидит это, она проникается уважением.

– Но ведь это все же печальное положение вещей, – кротко заметил раввин Вайсс. Адвокат, доктор Вальтер, носивший прежде фамилию Фейглсток, заметил:

– Я не помню кто сказал, что со штыками все можно сделать; только усесться на них нельзя.

– Я думаю, что все мы принуждены будем снова носить желтый значок! – воскликнул Ляшнер.

– Или же выселиться, – добавил раввин.

– Куда? я вас спрашиваю? – воскликнул Вальтер – Разве в другом месте нам будет лучше? Даже в свободной Франции неистовствуют антисемиты!

Д‑р Вайсс, бедный раввин из небольшого моравского городка, не знавший в какое общество он попал, нерешительно заметил:

– Уже несколько лет существует движение, – его называют сионистским. Еврейский вопрос решается путем грандиозной колонизации. Все те евреи, которые не могут больше вынести настоящего положения, должны направиться в Палестину, нашу старую родину.

Он говорил совершенно серьёзно и не заметил, что на лицах, окружавших его, стала играть улыбка; он поэтому был страшно ошеломлен, когда при слове «Палестина», раздался дружный хохот. Смех звучал на всевозможные лады. Дамы хихикали, мужчины гоготали и издавали звуки, похожие на ржание. Только Фридрих Левенберг находил смех этот грубым и неприличным по отношению к старику.

Блау воспользовался первой паузой во всеобщем смехе и заявил:

– Если бы в оперетке была хоть одна подобная шутка, было бы отлично!

Грюн крикнул:

– Я буду посланником в Вене.

Новый взрыв хохота.

– И я, и я – вставляли некоторые. Тогда Блау серьезно заметил:

– Господа! Все не могут быть посланниками! Я думаю австрийское правительство не признало бы такого многочисленного еврейского дипломатического корпуса Вы должны подыскать себе иные посты!

Смущенный раввин не отводил глаз от тарелки. Между тем юмористы Грюн и Блау ожесточенно набросились на пригодный для их юмора материал… Они обозревали новое государство и описывали его порядки: в субботу биржа будет закрыта, король станет жаловать «орденом Давида» или «мясного щита» тех, кто имеет заслуги перед отечеством или же на бирже.

Кому же однако быть королем?

– Во всяком случае барону Гольдштейну, – заявил шутник Блау.

– Прошу вас не втягивать в дебаты имя барона Гольдштейна, по крайней мере в моем присутствии, – с презрением протестовал Шлезингер, доверенный знаменитого банкира.

Кивком головы все выразили ему свое одобрение. Блау действительно позволял себе иной раз бестактности; втягивать в дебаты личность барона Гольдштейна…. это было уже слишком… но Блау продолжал:

– Министром юстиции будет доктор Вальтер. Он получить дворянство с титулом фон Файглшток. Дворянин Вальтер фон Файглшток!

Опять смех. Адвокат покраснел за имя своего отца и бросил остряку:

– По вашей физиономии давно не гуляла чужая рука.

Грюн, не менее остроумный, но более осторожный, шептал на ухо своей соседке акростих, начальные буквы которого составляли слово: «Файглшток».

Фрау Лашнер осведомилась:

– А театры там будут? Если нет, то я не поеду

– Конечно, сударыня – ответил Грюн. – И на парадных спектаклях в императорском Иерусалимском театре будет присутствовать весь цвет еврейства.

Раввин Вайс тихо заметил:

– Над кем вы смеетесь, господа? Над собой?

– Я горжусь тем, что я еврей – заявил Лашнер – потому что если б я не гордился этим, все равно, я был бы евреем. И я предпочитаю гордиться.

В это время обе горничные вышли за новым блюдом. Хозяйка дома заметила:

– В присутствии слуг не следовало бы говорить о еврееях.

Блау подхватил ее слова:

‑Виноват! Я не знал, сударыня, что ваша прислуга не знает, что вы евреи.

Некоторые засмеялись.

– Так‑то так, но ведь и в колокола звонить об этом не приходится – авторитетно протянул Шлезингер.

Внесли шампанское. Шифман толкнул локтем своего соседа, Фридриха Левенберга.

– Сейчас начнется!

– Что начнется?

– Вы все еще не догадываетесь, в чем дело?

Нет, Фридрих еще не догадывался, но в следующую минуту ему все стало ясно.

Леффлер стукнул ножом о свой бокал и встал. Наступила тишина. Дамы выжидательно прислонились к спинкам стульев. Остряк Блау запихнул в рот последний кусок и усердно жевал, а папаша Леффлер говорил:

– Мои высокоуважаемые друзья! С неизъяснимым удовольствием спешу сообщить вам о радостном событии, свершившемся в моей семье. Дочь моя Эрнестина помолвлена с Леопольдом Вейнбергером, шефом фирмы «Самуэль Вейнбергер и сыновья» в Брюнне. За здоровье жениха и невесты. Ура!

Ура! Ура! Ура! Все встали. Зазвенели бокалы. Потом гости подходили к обрученным, поздравляли. их и чокались с ними.

Фридрих Левенберг тоже подошел к ним, хотя глаза его застлала влажная пелена, и он едва различал дорогу.

Он стоял перед Эрнестиной долгую минуту и дрожащей рукою чокался с ней.

Она едва взглянула на него.

Общество оживилось. Один тост следовал за другим. Шлезингер произнес блестящую речь. Грюн и Блау оказались на высоте своего призвания. Первый играл словами, второй делал бестактные намеки. Настроение было возбужденно‑радостное.

Фридрих смутно слышал, что говорится вокруг него, и ему казалось, что шум и голоса несутся откуда‑то, издалека, и что его окружает непроницаемый туман, который застилал ему глаза и спирал дыхание.

Ужин приближался к концу. У Фридриха была одна только мысль – уйти, убежать как можно дальше от этих людей. Он чувствовал себя лишним в этой комнате, в городе, вообще, на свете. Когда все встали из‑за стола, он хотел воспользоваться этим моментом и уйти незамеченным, но Эрнестина неожиданно подошла к нему и остановила его ласковым вопросом:

– Доктор, что же вы ничего не сказали мне?

– Что я могу оказать вам, Эрнестина? Я желаю вам счастья…Да… да… я желаю вам полного, безмятежного счастья.

Но в эту минуту жених опять очутился подле нее, уверенным жестом законного обладателя обнял ее за талию и увел ее.

Она улыбалась.

III

Как только Фридрих Левенберг очутился на холодном зимнем воздухе, перед ним огненными буквами вспыхнул вопрос: что противнее было – движение, которым Вейнбергер из Брюнна обнял молодую девушку или ее улыбка, которую он до тех пор находил очаровательной.

Этот шеф суконной фирмы всего четырнадцать дней знал девушку и уже обнимал ее своей потной рукой. Какая гнусная сделка! Это была гибель прекрасной иллюзии…

Но шеф, очевидно, был богат, а Левенберг был беден. В этом кругу, где ценились только наслаждения и успех, деньги были – все!

Но этот круг еврейской буржуазии был ему необходим. Он должен был жить с этими людьми и к несчастью зависит от них, так как они представляли клиентуру для будущей адвокатской практики. В лучшем случае, он может быть юрисконсультом какого‑нибудь Лашнера, о счастливой возможности поймать клиента, вроде барона Гольдштейна, он и мечтать не смел. Христианское общество и христианские клиенты недоступнее звезд…

Что же остается делать?

Или войти в круг Леффлеров, проникнуться их низменными идеалами, защищать интересы какого‑нибудь сомнительного дельца и в награду за такое достойное поведение по истечении стольких‑то лет тоже получить контору в свое управление и всеми признанное право на руку и приданое девушки, которая выходит за первого встречного, после четырнадцатидневного знакомства.

С этими мыслями Левенберг опять пришел к своей кофейне. Ему жутко было оставаться теперь одному в своей тесной неуютной комнатке. Было всего десять часов. Лечь спать? Да, если б можно было не просыпаться больше…

У дверей кофейни он чуть не споткнулся о какое‑то маленькое существо

На ступеньке подъезда, скорчившись, сидел мальчуган. Фридрих узнал его; это был тот самый, которому он несколько часов назад подал милостыню

– Что это? Ты опять попрошайничаешь здесь! – напустился он на него.

И мальчик дрожащим от холода голосом ответил ему: «Я жду отца». – Он встал и опять стал подпрыгивать и бить одной рукой о другую, чтобы согреться. Но Фридрих был очень несчастен, и в душе его не дрогнуло сострадание к мерзнувшему ребенку.

Он вошел в душный накуренный зал и сел на свое обычное место за круглым столом с газетами

Народу было уже немного. Только в углах чернели фигуры засидевшихся игроков, которые не в силах были расстаться друг с другом и снова и снова объявляли последнюю партию, потом прощальную, заключительную и начинали новую.

Нисколько мгновений Фридрих неподвижно смотрел в пространство. Когда к столу подошел словоохотливый знакомый, Фридрих взял в руки газету, и сделал вид, что читает. Но как только он взглянул на столбцы, взгляд его случайно остановился на объявлении, о котором Шифман говорил несколько часов тому назад

«Ищут образованного разочарованного в жизни молодого человека, согласного сделать: последний опыт над своей неудавшейся жизнью. Предложения адресовать в главный почтамт Н.О.Боди».

Как странно! Теперь он может откликнуться на этот призыв! Последний опыт! Жизнь стала бременем для него. Прежде, чем покончить счеты с ней, как несчастный Генрих, отчего бы и не сделать последний опыт.

Он спросил у кельнера бумагу и чернила и написал Н.О.Боди следующие слова:

«Я в вашем распоряжения. Доктор Фридрих Левенберг. IX Ангасса, 67».

Когда он запечатывал письмо, к нему подошел кто‑то сзади и проговорил:

– Зубные щетки, подтяжки, запонки, не угодно ли?

Фридрих раздражительно оборвал назойливого разносчика. Тот со вздохом отступил назад и бросил жалкий умоляющий взгляд на кельнера, который мог выгнать его за приставанье к гостям. Фридриху тотчас же совестно стало своего окрика и подозвав бедняка, он бросил ему в ящик серебряную монетку. Но разносчик протянул ему деньги обратно:

– Я не нищий. Купите что‑нибудь. Так я денег принять не могу.

Чтобы отделаться от него, Фридрих взял из ящика запонку. Тогда только разносчик поблагодарил его и ушел. Фридрих равнодушно глядел ему вслед и видел, как, поравнявшись с кельнером, он дал ему только что полученную монету, а кельнер взял из корзины несколько черствых булок и дал их разносчику, который набил ими карманы своего пальто.

Фридрих встал и направился к выходу. В подъезде он опять заметил мерзнущего мальчика, на этот раз с разносчиком, который отдавал ему черствые булки.

– Что вы здесь делаете? – спросил Фридрих.

– Да вот, я даю ему сухари – ответил разносчик – чтобы он отнес их жене моей. – Это вся моя выручка за целый день.

– Правда ли? – недоверчиво сказал Фридрих.

– Правда ли это? – с удивлением повторил бедняк. – Боже мой, как бы я хотел, чтоб это не было правдой. – Куда бы я ни пришел с товаром, везде меня гонят. Еврею одно только остается – камень на шею и в воду.

Фридрих, только перед тем покончивший все счеты с жизнью, увидел вдруг случай сделать что‑то, быть полезным кому‑то. Мысли его мгновенно приняли другое направление. Он опустил письмо в ящик и пошел рядом с разносчиком и его мальчиком. Бедняк на его распросы, рассказал ему свою повесть.

– Мы приехали сюда из Галиции. В Кракове я жил еще с тремя семьями в одной комнате. Мы там питались воздухом. И я себе подумал – ведь хуже этого быть не может, и поехал с женой и детьми в Вену. Здесь не хуже, но, и не лучше.

– Сколько у вас детей?

Разносчик начал всхлипывать.

– У меня было пятеро… С тех пор, как мы здесь умерло трое… Теперь у меня только этот остался и маленькая девочка; грудная еще… Давид, не ходи так шибко.

Мальчик обернулся.

– Мама была очень голодна, когда я принес ей три крейцера, что дал мне этот господин.

– Так это… так это вы ему дали? – сказал разносчик и, схватив руку Фридриха, хотел было поцеловать ее. Но Фридрих быстро отдернул руку: «Что вы… что вы!…»

– Что же мать твоя сделала с этими тремя крейцерами? – обратился он к мальчику.

– Она купила молока для Мариам – ответил маленький Давид.

– Мариам –наш второй ребенок – пояснил разносчик.

– А мама все голодает? – спросил Фридрих, потрясенный до глубины души.

– Вероятно! – ответил Давид. У Фридриха было еще несколько гульденов. Итог своей жизни он уже подвел, и для него было совершенно безразлично, оставит ли он у себя эти деньги или отдаст их кому‑нибудь. А этим людям он мог, хотя бы на короткое время, облегчить горькую нужду.

– Где вы живете? – спросил он разносчика.

– На Бригитенауэр, мы там снимаем каморку… Но нас уже гонят оттуда…

– Хорошо, я хочу убедиться, правду ли вы говорите – я пойду с вами на вашу квартиру.

– Пожалуйста! – сказал разносчик. – Но большого удовольствия вы не получите – мы и сидим и, спим на соломе. Я хотел пойти еще в другие кофейни, но если вам угодно, я поведу вас к себе.

Они пошли по Аугартенскому мосту к Бригитенауэр. Давид, тихо шедший рядом с отцом, спросил шепотом:

– Папаша, можно мне съесть кусок хлеба?

– Ешь, ешь! – ответил отец. – Я тоже съем кусок, здесь и для матери хватит.

И отец с сыном стали громко жевать черствые булки.

Они остановились перед высоким, недавно выстроенным домом, от которого сильно несло сыростью и характерным острым запахом свежей постройки. Разносчик дернул звонок. Прошло несколько минут; ни один звук не нарушил тишину. Он опять позвонил и сказал:

– Привратник знает уже, кто звонит и не торопится открывать. Я часто целый час жду у ворот. Это большой грубиян. Когда у меня нет нескольких крейцеров для него, я и звонить не решаюсь.

– Что же вы тогда делаете? – спросил Фридрих.

– Тогда я шатаюсь до утра, пока не откроют ворота.

Фридрих сам взялся за звонок и раза два дернул его изо всех сил. Из‑за ворот послышались наконец какие‑то звуки, шлепанье туфель, звяканье ключей; в щелях мелькнул свет. Ворота открылись. Привратник поднял фонарь и крикнул:

– Кто это так дергает звонок? Кто это? Жидовское отродье?

Разносчик стал оправдываться:

– Это не я, это господин звонил!

Привратник стал ругаться:

– Какое нахальство! Какое нахальство!…

– Молчать, грубиян! – прикрикнул на него Фридрих и швырнул ему серебряную монету, которая со звоном покатилась по каменным плитам.

Привратник мгновенно стал ниже травы, тише воды.

– Я не про вашу милость, сударь – я про них… про этих жидов.

– Молчите! – повторил Фридрих, и посветите мне по лестнице.

Привратник нагнулся и поднял деньги. Целая крона! Должно быть, какой‑то важный барин.

– Это в пятом этаже – сказал разносчик. – Быть может вы одолжите нам огарочек – заискивающими тоном обратился он к привратнику.

– Вам я ничего не дам – ответил тот – но если господин пожелает…

И он вынул из фонаря огарок свечи, подал его Фридриху и, не переставая ворчать, исчез куда‑то.

Фридрих с Литваком и Давидом поднялись на пятый этаж. Огарок оказался не лишним; их окружал глубокий мрак. В комнатке Литвака, с одним окном, то же не было огня, хотя жена его не спала и, сидя на соломенной подстилке, кормила дряблой грудью маленькое плачущее дитя. При тусклом свете огарка Фридрих увидел, что в комнате нет никакой мебели. Ни стула, ни стола, ни шкапа. На подоконнике стояло несколько пузырьков и разбитые горшки. Картина глубокой, безысходной нужды. Женщина встретила их изумленным тоскливым взглядом.

– Кто это? – испуганно спросила она.

– Хороший человек – успокоил ее муж.

Давид подошел к ней.

– Мама, вот хлеб – сказал он и отдал ей сухари. Она с усилием отломала кусок и медленно поднесла его ко рту. Она была очень слаба, худа, но истощенное лицо носило еще следы минувшей красоты.

– Вот здесь мы живем – с горьким смехом сказал Литвак. – Но я не знаю, будем ли мы еще здесь послезавтра. Нам уже отказали от квартиры…

Женщина громко вздохнула. Давид опустился на солому подле матери и прижался к ней.

– Сколько вам надо денег, чтобы вы могли остаться здесь? – спросил Фридрих.

– Три гульдена! – объяснил Литвак. – Гульден двадцать крейцеров за квартиру, а остальное я задолжал хозяйке. Где же я могу достать в один день три гульдена. Придется пойти на улицу с женой и детьми.

– Три гульдена! – тихо и безнадежно протянула женщина. Фридрих опустил руку в карман. При нём было восемь гульденов. Он отдал их разносчику.

– Милосердый Бог! Возможно ли это? – воскликнул Хаим, и по лицу его побежали слезы.

– Восемь гульденов! Ревекка! Давид! Бог помог нам!.. Да будет благословенно имя его.

Ревекка тоже совершенно растерялась. Она привстала на колени и подползла к спасителю. Правой рукой она поддерживала спящее дитя, а левой искала руку Фридриха, чтобы поцеловать ее.

Он резким движением уклонился от ее благодарности.

– Оставьте! Что за глупости! Для меня эти восемь гульденов ничего не значат… Мне все равно, будут ли они у меня или нет. Не посветит ли мне Давид?

Женщина опять опустилась на свою постель и зарыдала от радости. Хаим Литвак шепотом читал древнееврейскую молитву. Фридрих вышел в сопровождении Давида и стал спускаться вниз. Когда они были уже во втором этаже, Давид, державший свечу, остановился и сказал:

– Господь поможет мне сделаться хорошим сильным человеком. Тогда я уплачу вам долг.

Фридрих тоже остановился, изумлённый словами и твердым серьезным тоном этого малыша.

– Сколько тебе лет? – спросил он его.

– Кажется, одиннадцать.

– Кем ты хочешь быть?

– Я хочу учиться… Много учиться.

Фридрих невольно вздохнул:

– Ты думаешь, что это приносит счастье…

– Да! – сказал Давид – я слышал, что человек, который много знает, силен и свободен. Бог поможет мне и сделает так, чтобы я мог учиться. Тогда я уеду с родителями и с Мариам в Палестину.

– В Палестину? – с изумлением повторил Фридрих.

– Что ты там будешь делать?

– Это наша родина. Там мы можем быть счастливы.

Бедный мальчуган, решительно изложивший в двух словах программу будущего, нисколько не казался ему смешным. Он вспомнил пошлых остряков Грюна и Блау, изощрявших по поводу сионизма свое плоское остроумие. Давид добавил еще:

– И если у меня будет что‑нибудь, я верну вам эти деньги.

– Да, позволь, милый мой, ты вовсе не мой должник – сказал Фридрих, улыбаясь. – Я дал деньги твоему отцу.

– То, что делают для моего отца, делают и для меня. И я за все уплачу – за хорошее и за дурное… – Давид сжал руку в кулак и при последнем слове энергичным жестом указал на помещение привратника, мимо которого они проходили.

Фридрих положил руку на голову мальчика.

– Да поможет тебе Господь, Бог отцов наших! И он сам удивился произнесенным словам. С далеких дней детства, когда он ходил еще с отцом в синогогу, он не думал больше о «Боге отцов наших». Эта удивительная встреча пробудила в нем что‑то родное, забытое, и сердце заныло тоской по глубокой вере юности и невозвратной поре, когда он в молитвах обращался еще к Господу, Богу отцов наших.

Привратник, шлепая туфлями, подошел к воротам.

Фридрих сказал ему:

– Советую вам оставить этих несчастных в покое или вам придется считаться со мной!.. Поняли?

Так как слова эти сопровождались вторичной подачкой, то брюзга в ответ проворчал только «покорно благодарю» и распахнул ворота. Фридрих пожал мальчику руку и вышел на пустынную улицу.

IV

В письме, которое Фридрих получил от Н.О.Боди, местом свидания указан был фешенебельный отель на Рингштрассе. В назначенный час он явился туда и спросил мистера Кингскурта. Ему указали номер в первом этаже. Когда он вошел в комнату, навстречу ему поднялся высокий широкоплечий господин.

– Вы доктор Левенберг?

– Да.

– Садитесь, пожалуйста, доктор.

Они сели. Фридрих внимательно смотрел на незнакомца и ждал от него объяснений. Мистер Кингскурт был человек лет пятидесяти, с проседью в бороде, и густыми темными волосами, в которых уже блестели серебряные нити. Он не спеша закурил толстую сигару.

– Вы курите, доктор?

– Нет! – ответил Левенберг.

Мистер Кингскурт осторожно выпустил струйку дыма, внимательно проследил направление волнистой линии, и, когда она совершенно растаяла в воздухе, сказал, не глядя на своего гостя.

– Отчего вам надоела жизнь?

– На этот счет я никаких объяснений вам дать не могу – спокойно ответил Фридрих.

Мистер Кингскурт посмотрел ему прямо в лицо, одобрительно кивнул головой, смахнул пепел с сигары и сказал:

– Черт возьми, да вы правы. Это меня и не касается вовсе. Когда мы сблизимся с вами, вы раньше или позже расскажете мне. А тем временем, я сообщу вам, кто я такой. Настоящее имя мое: Кенигсгоф. Я немецкий дворянин. В молодости был офицером, но мне тесно было в военном мундире. Я не выношу чужой воли над собою, хотя бы это была сама кротость и великодушие. Словом, дальше двух лет я не вытерпел… и вышел из полка. Если б я этого не сделал, меня раньше или позже взорвало бы и я наделал бы беды и себе и другим… Я уехал в Америку, назвал себя Кингскуртом и за двадцать лет упорного кровного труда составил себе состояние. И когда я добился этого… я женился… Что вы сказали, доктор?

– Ничего, мистер Кингскурт.

– Хорошо. Вы не женаты?

– Нет, мистер Кингскурт, но… я полагал, что вы объясните мне, в чем состоит этот последний опыт, который вы предложили мне.

‑Я подхожу к этому, доктор. Если нам суждено не расставаться с вами, я расскажу вам подробно, как я начал новую жизнь, и какую школу я прошел, пока приобрел свои миллионы. Потому что надо вам знать, я миллионер… Что вы сказали, доктор?

– Ничего, мистер Кингскурт.

– Энергия, доктор, это все! В этом вся суть! Чего человек сильно захочет, то он непременно получит; это верно, как смерть. Я только там, в Америке, понял, как европейцы ленивы и безвольны. Случаю угодно было, чтобы один Кенигсгоф, сын моего брата, набедокурил на службе. Я взял молодца к себе, как раз в то время, когда возымел намерение жениться. Да, я хотел обзавестись домом, семьей, женой, на которую мог бы навешивать дрогоценности, как всякий другой выскочка. Мне страстно хотелось иметь детей, дабы я знал, для чего, в сущности, я столько лет тянул лямку труда. Я сделал предложение бедной девушке и, полагал, что начало сделано великолепное. Она была дочь одного из моих служащих. Я много сделал для нее и для ее отца. Она, конечно, сказала – да. Я принял это за любовь, но она согласилась быть моей женой из благодарности или из трусости. Она не посмела мне отказать. И мы поженились, и мой племянник жил у меня. Вы скажете, это было безрассудство – старику жить между двумя молодыми людьми, которые неизбежно должны были встречаться ежедневно. Когда я прозрел, я и сам ругал себя ослом. Но если бы не он, все равно – был бы другой.

Словом, они оба обманывали меня и, вероятно, с первого дня.

Когда я понял это, я первым делом, схватился за револьвер. Но в то же мгновение мне пришла в голову мысль, что ведь виноват я один. И я махнул на них рукой. Пошлость – свойство человеческое, и каждый случай – сводница. Людей надо избегать или вы всегда рискуете погибнуть из‑за них. Ну, вот, видите ли, я потерпел крушение. Приходила мне также в голову мысль, что одной пулей я могу прекратить жалкую комедию жизни. Но застрелиться я всегда успею, подумал я. Дальнейшая нажива, конечно, потеряла для меня смысл. Я утратил всякий интерес к делам… Семейной жизни с меня было довольно. Оставалось еще одиночество, как последний опыт. Но великое, неслыханное одиночество… Ничего не знать о людях, об их жалкой борьбе, об их низости, вероломстве… Истинное, безусловное глубокое одиночество, без желаний, без стремлений… Полное возвращение к природе! Такое одиночество – рай, который люди утратили из‑за грехов своих. И я нашел такое одиночество…

– Да? Вы его нашли? – спросил Левенберг, не догадываясь еще, к чему клонит американец.

– Да, доктор. Я ликвидировал свои дела и вторично исчез для всех своих знакомых. Никто не знает, куда я делся. Я выстроил себе отличную яхту и, что называется, в воду канул. Я долгие месяцы шатался по морю. Эти чудесная жизнь на море, надо вам знать. Хотели бы вы познакомиться с ней, или вы знаете ее?..

– Нет, мне не приходилось еще ездить по морю… Но я не преминул бы воспользоваться случаем…

– Отлично, доктор!.. Жизнь на яхте – уже свобода, но еще не одиночество. Необходимо иметь экипаж, надо входить в пристани за углем, опять неизбежные соприкосновения о людьми, а люди грязнят.

Но я знаю один остров в Тихом океане, где возможно полное одиночество. Это маленькое горное гнездо в Кукском Архипелаге. Я купил его и жители Раротонги выстроили мне комфортабельный дом. Здание со всех сторон закрыто горами и совершенно не видно с моря. Да и корабли впрочем редко проезжают там. Остров мой кажется необитаемым…

Я живу там с двумя слугами, немым негром, который еще в Америке служил у меня, и одним таитянином, которого я вытащил из воды в гавани Аваруа… Несчастный бросился в воду из за какой‑то любовной неудачи. Теперь я приехал в последний раз в Европу за необходимыми покупками для дальнейшего пребывания там. Мне нужны книги разные, физически приборы, оружие. Провизию мой таитянец доставляет с соседнего обитаемого острова. Каждое утро они с негром переправляются туда в электрической лодке. Все, что нужно, словом, можно за деньги достать в Раротонге, как во всяком другом месте… Понимаете?

– Да… Я не понимаю только, зачем вы это рассказываете мне.

– Зачем?.. Потому что я ищу сожителя, собеседника, чтобы не забыть человеческую речь, и затем, я хочу иметь при себе человека, который закрыл бы мне глаза, когда я помру. Угодно вам разделить со мной одиночество?

Фридрих подумал о минуту и твердо отвечал:

– Да.

Кингскурт весело кивнул головой и добавил:

– Но имейте в виду, что выберете на себя долголетнее обязательство. По крайней мере, пока я буду жив, вы не имеете права нарушить его. Если вы уедете со мной, вам возврата больше нет. И вы должны порвать все нити, связывающие вас с жизнью. Фридрих ответил:

– Меня ничто не связывает. Я совершенно одинок и вполне располагаю своей жизнью.

– Вот такого человека мне и надо, доктор. Фактически вы расстаетесь с жизнью, если пойдете со мной. Вы ничего не услышите ни о добре, ни о зле, совершающемся в этом мире. Вы умерли для мира, и мир умер для вас. Согласны?

– Согласен.

– Тогда мы с вами сойдемся. Вы мне нравитесь.

– Но я должен сказать вам еще, что я еврей. Это вас не смущает?

Кингскурт рассмеялся:

– Слушайте! Ваш вопрос смешон. Вы человек, это не подлежит сомнению. И, по‑видимому, образованный человек. Жизнь надоела вам, это говорит за благородство ваших вкусов. Там, куда мы едем, все остальное страшно безразлично… Итак, по рукам?..

Фридрих взял протянутую ему руку и крепко пожал ее.

– Когда вы можете быть готовы в путь, доктор?

– В любую минуту.

– Превосходно. Завтра, скажем. Мы поедем в Триест. Там ждет нас моя яхта… Вам надо, быть может, еще сделать какие‑нибудь покупки?

– Я не знаю, какие – сказал Фридрих. – ведь это разлука с жизнью.

– Непременно, доктор! Вам надо, быть может, денег на покупки? Располагайте моей кассой.

– Благодарю вас, мистер Кингскурт. Мне ничего не нужно.

– Нет ли у вас долгов, доктор?

– У меня ничего нет, и я никому ничего не должен.

– У вас нет родных, друзей, которым вы бы хотели оставить что‑нибудь?

– Никого!

– Тем лучше! Мы едем, значит, завтра!.. Но мы и сегодня уже могли бы вместе пообедать.

Кингскурт позвонил. Кельнеры по его приказанию накрыли в номере стол и принесли изысканный обед. Дальнейшая задушевная беседа совершенно сблизила их. Фридрих, тронутый откровенностью и доверчивостью Кингскурта, почувствовал потребность рассказать ему что‑нибудь про себя. И он в немногих словах изложил ему свою повесть. Когда он кончил, американец сказал:

– Теперь я уверен, что вы от меня не убежите. Несчастная любовь, мировая скорбь, антисемитизм – этого совершенно достаточно, чтобы и у молодого даже человека явилось желание уйти из мира навсегда! Из мира, где надо жить с людьми… Даже когда вы делаете людям добро, они обманывают вас, терзают вас. Благодетели человечества – величайшие глупцы. Вы не согласны со мною?

– Мне кажется, м‑р Кингскурт, что делать добро приятно. Это дает известное удовлетворение. И мне пришла в голову одна мысль. Вы спрашивали меня, не желаю ли я оставить кому либо денег перед разлукой с жизнью. Я знаю одну семью, которая страшно нуждается и очень хотел бы ей помочь… Вы позволите?..

– Это глупо, но отказать вам я не могу. Располагайте своим жалованьем, как вам заблагорассудится. Пять тысяч гульденов довольно?

– О, вполне – ответил Фридрих. – И для меня очень утешительно сознание, что моя разлука с жизнью не совсем бесцельна…

Комната Литваков днем имела еще более убогий вид, чем ночью. Но тем не менее Фридрих Левенберг застал этих несчастных чуть ли не в розовом настроении.

Давид стоял у окна, на котором лежала раскрытая книга и читал, уплетая в то же время огромных размеров бутерброд. Отец и мать сидели на полу. Крошечная Мариам играла подле них соломинками.

Хаим Литвак быстро поднялся навстречу своему благодетелю, жена его тоже хотела встать, но Фридрих помешал ей. Он опустился подле нее на колени и приласкал малютку, которая ласково улыбалась ему из своих лохмотьев.

– Ну, как вы себя чувствуете? – спросил Фридрих.

Несчастная тщетно ловила его руку.

– Лучше, лучше – сказала она – у нас есть хлеб и молоко для девочки.

– И за квартиру мы тоже уплатили – сияя от радости, добавил Хаим.

Давид положил свой бутерброд на подоконник, прижал к груди руки, и остановившись перед Левенбергом, в упор смотрел ему в лицо.

– Что ты так уставился на меня, Давид?

– Я хочу запомнить ваше лицо. Я читал однажды историю про человека, который помог больному льву.

– Андрокл! – улыбнулся Фридрих.

– Он уже много читал, мой Давид – слабым, нежным голосом сказала мать.

Фридрих встал и положил руку на круглую головку мальчика.

– Что же, ты лев, что ли? У Иуды был лев…

– Иуда может вернуть то, что было у него – почти дерзко ответил мальчуган – верю, наш древний Бог еще жив!

Фрау Литвак жалобно воскликнула:

– Боже мой, мы даже стула не можем предложить вам.

– Да и не нужно. Я зашел только проведать вас и передать вам это письмо. Вы его вскроете, когда я уйду… Это… рекомендация, она пригодится вам в жизни. Вы должны хорошо питаться, фрау Литвак, чтобы вы в силах были вырастить свою дочку и сделать из нее такую же хорошую женщину, как вы сами.

– Дай Бог, чтоб она была счастливее меня…

– А этому милому мальчику доставьте возможность учиться! Дай мне свою руку, мальчуган! Обещай мне, что ты будешь честным человеком!

– Я обещаю вам это.

«Какие удивительные глаза у этого мальчугана!» – думал Фридрих, пожимая маленькую руку. Затем он положил объемистый пакет на подоконник и шагнул к дверям.

– Простите, пожалуйста – остановил его Литвак – это быть может рекомендательное письмо в еврейский комитет.

– Да, конечно – ответил Фридрих. – Оно и там вам пригодится.

Он вышел, и сбежав с лестницы вниз, точно за ним гнался кто‑то, быстро вскочил в фиакр, ждавший его у ворот, и крикнул кучеру:

– Скорей, как можно скорей.

Лошади тронули. Минуту спустя из ворот, задыхаясь, выскочил Давид, растерянно посмотрел во все стороны и, убедившись, что благодетеля и след простыл, горько зарыдал. Фридрих видел это в маленькое отверстие в задней стенке кареты, и был очень рад, что ему удалось избегнуть излияний благодарности. Эти пять тысяч, вероятно, выручат несчастную семью из когтей нужды.

Кингскурт встретил его громким добродушным смехом:

– Ну что, совершили свое доброе дело, доктор?

– Вы могли бы с большим правом назвать его своим – это были ваши деньги, мистер Кингскурт!

– Ого! От этой чести решительно отказываюсь! Я ни одним крейцером не пожертвовал бы для людей. Я могу мириться с тем, что вы разыгрываете глупую комедию человеколюбия, но я – слуга покорный! Это было ваше жалованье, вы могли распорядиться им по своему усмотрению…

– Пусть будет так, мистер Кингскурт, не все ли равно?

– Вот если бы вы сказали мне, что затеваете какое‑нибудь полезное учреждение для собак, для лошадей или других приятных животных – вы, быть может, заинтересовали бы меня и даже увлекли… Но для людей?.. нет, нет, подальше, подальше от них… Это гнилой товар. А пресловутый разум человеческий сводится к гнусности… Как‑то я недавно прочитал в газете, что одна старуха все свое состояние отказала кошкам. Составила формальное завещание и распорядилась, чтобы весь ее дом разделен был на столько‑то помещений для кошек, для прислуги, ветеринаров и т. д. И безмозглый репортер счел своим долгом добавить, что старуха, вероятно, была не в своем уме. Осел! Это была, несомненно, женщина исключительного ума. И завещание было, конечно, вполне сознательной демонстрацией против человеческого рода, и в частности против жалкой, хищной родни… Животным – да, это я понимаю, только не людям! Вот, доктор, этой старухе я сочувствую всей душой, царство ей небесное!

Это была излюбленная тема Кингскурта, на которую он развивал с увлечением самые неожиданные и неисчерпаемые парадоксы.

Сборы Фридриха Левенберга были не долги. На следующий день он уже был готов. Своей квартирной хозяйке он сказал, что отправляется на прогулку, в горы. И она ответила ему:

– Зимой! Там, говорят, чуть ли не каждый день несчастные случаи.

– Прекрасно! – с грустной улыбкой сказал Левенберг –если я через восемь дней не вернусь, можете заявить в полицию о моем исчезновении. А меня, вероятно, подберут в каком‑нибудь ущельи и, надо думать, позаботятся обо мне. Все мои вещи я завещаю вам.

– Побойтесь бога, доктор! Это грешно так говорить…

– Да ведь я шучу! – ответил он

Он уехал с Кингскуртом в тот же день, вечерним поездом. В кофейню на Альзергрунде он больше не ходил и не знал, что маленький Давид Литвак ежедневно караулит его у подъезда до поздней ночи.

В Триестской гавани качалась на волнах нарядная яхта мистера Кингскурта. Они сделали еще кой‑какие покупки и в один солнечный декабрьский день снялись с якоря и направили путь на юго‑восток.

При других обстоятельствах такая поездка наполнила бы Фридриха восторгом и счастьем. Теперь он ждал от нее лишь возможного облегчения своей безысходной тоски. Человеконенавистничество м‑ра Кингскурта проявлялось лишь в парадоксах и философских рассуждениях. На самом деле, это был добродушнейший человек; задушевный и отзывчивый. Когда он замечал, что Левенберг в угнетенном настроении духа, он всячески старался его развлечь и возился с ним, как с больным ребенком.

И Фридрих говорил тогда:

– У матросов, вероятно, сложилось совершенное ложное представление о наших взаимоотношениях. Они бессомненно считают меня хозяином, а вас гостем, которого я пригласил с собой для развлечения. Ах, мистер Кингскурт, право, вы могли бы найти более веселого спутника, чем я!..

– Милый мой, да у меня выбора не мало! – отвечал мистер Кингскурт. – Мне нужен был разочарованный в жизни человек, а таковой не может быть веселым собеседником. Но я вас вылечу. Когда жалкое человечество останется далеко, далеко за нами вы у меня совсем другое запоете. Вы будете такой же довольный и бодрый человек, как и я. Конечно, пока мы не покинем наш благословенный остров. Черт меня побери, если я вас обманываю!

Яхта обставлена была очень удобно, с полным американским комфортом. У Фридриха была такая же отличная каюта, как и у Кингскурта. Общая столовая отделана была с ослепительной роскошью. После обеда, они, обыкновенно, долго сидели за столом, освещенным ровным светом висячей электрической лампы, и вечера незаметно проходили в занимательных оживленных беседах.

На яхте была и прекрасная библиотека из книг избранных авторов, но к ним никто не прикасался: время всецело поглощалось разнообразными впечатлениями морского путешествия.

Кингскурт прилагал все свои усилия, чтобы отвлекать Левенберга от печальных мыслей.

При небольшой качке миновали они и остров Крит, как вдруг Кингскурт предложил Фридриху:

– Не хотите ли перед окончательной разлукой с миром, повидать свою родину?

– Мою родину? – с удивлением спросил Фридрих. – Вы намерены вернуться в Триест?

– Боже избави! – вскрикнул Кингскурт. – Перед нами ваша… ваша родина – Палестина.

– А, вот что! Но вы ошибаетесь. У меня нет ничего общего с Палестиной. Я никогда там не был. И она меня не занимает. Мои предки восемнадцать веков тому назад ушли. оттуда. Что мне там делать? Я думаю, только антисемиты могут утверждать, что Палестина наша родина…

При этих словах он вспомнил Давида Литвака и добавил:

– Кроме антисемитов, я слышал еще только от одного еврейского мальчика, что Палестина наша родина. Вы хотели подтрунить надо мною, мистер Кингскурт?

– Порази меня гром, если я хотел обидеть вас. Я совершенно серьезно сказал это. Откровенно говоря, я вас, евреев, не понимаю. Если б я был евреем, я страшно гордился бы этим. А, вы, евреи, стыдитесь своего происхождения. Что же вас удивляет, когда другие вас презирают, присутствующие, разумеется, исключаются…

– Господин фон Кенигсгоф, вы, быть может, антисемит? – с негодованием воскликнул Левенберг.

Он в первый раз и совершенно безотчетно назвал Кингскурта его немецким именем.

Кингскурт улыбнулся.

– Только не волнуйтесь, милый мой! С моей ненавистью ко всему роду человеческому вы примирились… А если я и племя Израилево не обожаю – так сейчас на дыбы! Утешьтесь, миленький… я ненавижу евреев не более и не менее, чем христиан, магометан и огнепоклонников. Все они ни к черту не годятся! Я вполне сочувствую Нерону: в одну бы голову их всех и отрубить ее одним ударом! Или нет: пусть остаются на земле, пусть поедают друг друга и умирают медленной смертью.

Фридрих успокоился: Конечно, это глупо с моей стороны. ведь то, что вы взяли меня о собой лучшее доказательство вашей терпимости.

– Я вспомнил сейчас – сказал Кингскурт – одно столкновение с одним из ваших соплеменников или единоверцев или – черт меня побери – ну, словом с евреем. Это было в полку. У нас был один вольноопределяющийся… Кон, его была фамилия… Плюгавенький такой… Простите! Этот Кон был несчастный кривоногий малый, самим Богом сотворенный для кавалерии… И вот однажды на уроке верховой езды, я приказал им, мерзавцам, скакать через барьер. То есть, я хотел, что бы они скакали, а они не хотели, или не умели. Барьер был довольно высокий. Ну, я и обращался с ними, как и следует обращаться с такими, прохвостами! Тогда я умел еще ругаться, черт меня побери! Теперь я уже перезабыл… Я и дал им понять отборными такими словечками, что, мол, считаю их самой трусливой дрянью…

И свое раздражение я больше всего вымещал на Коне.

– Что, делишки, векселишки, никак, скорей делаются! – говорю ему. – Еврейчик мой, как вспыхнет, до корней волос и в одно мгновенье перескочил через барьер. Но упал и сломал руку. Прескверно было у меня тогда на душе. И зачем такой дряни чувство достоинства!

– Вы полагаете, что для евреев это излишняя роскошь?

– Ну, полноте… Вы придираетесь к моим словам… Впрочем, если у евреев есть чувство достоинства, зачем они допускают такие издевательства над собой?

– Что же евреи должны делать, м‑р Кингскурт?

– Что? Ну, этого я не знаю… Но что‑нибудь такое, что сделал мой Кон. Я стал больше уважать его с той минуты.

– Потому что он сломал себе руку?

– Нет, потому что он показал мне, что у него есть сила воли. Если б я был на вашем месте, я затеял бы что‑нибудь великое, смелое до безумия – перед чем все враги еврейства остолбенели бы от изумления. Всегда, милый мой, будут предрассудки. Человечество питается предрассудками от колыбели до гроба. И если предрассудки нельзя уничтожить, то надо их победить.. Положительно, в наше время интересно, верно, быть евреем. Именно потому, что против вас весь мир.

– Ах, если бы вы знали, как это тяжело!

– Верю, верю! Могу себе представить… Ну, как же будет с Палестиной? Давайте, посмотрим ее, прежде чем исчезнем с лица земли.

– Мне все равно, мистер Кингскурт!

Яхта взяла курс по направлению к Яффе.

Они пробыли несколько дней в древней стране евреев.

Яффа произвела на них тяжелое впечатление. При всей красоте местоположения, общий вид города был удручающий. Жалкая гавань, неудобная высадка. Узенькие грязные улицы, в которых спирало дыхание от вони и какого‑то тленного могильного запаха. На каждом шагу пестрая восточная нищета. Оборванные турки, грязные арабы, робкие, забитые нуждой евреи вяло, безнадежно бродили по городу, вымаливая подаяние…

Кингскурт и Левенберг поспешили уехать дальше. Они отправились по отвратительной железной дороге в Иерусалим. Но и на этом пути все говорило о страшном упадке страны.

Плоская, местами песчаная, местами болотистая равнина. Темные нивы, точно спаленные огнем или солнцем. Черные деревушки арабов. Угрюмые туземцы с хищными разбойническими лицами. На улицах, в кучах мусора копошились голые грязные ребятишки.

Вдали, на горизонте, засерели холмы Иудеи. Поезд въехал в долину, закованную в темные обнаженный горы. Ни малейшего следа былой или современной культуры…

– Если это наша страна – с грустью заметил Фридрих – то она в таком же страшном упадке, как и наш народ.

– Да, это ужасно, это прямо гнусно… – горячился Кингскурт. А между тем здесь много можно сделать! Первым делом надо насадить леса. Какой‑нибудь миллион молодых елей – они быстро растут – как спаржа. Стране нужна только вода и леса – и перед ней откроется будущность, и кто знает, какая великая будущность.

– Что же вода и лес дадут этой стране?

– Евреев! Черт возьми! Вода и лес приведут сюда евреев.

Была уже ночь, когда они приехали в Иерусалим, дивная лунная ночь…

– Тысяча чертей! Как хорошо! – воскликнул Кингскурт. Он велел остановить экипаж, который вез их с вокзала в отель и сказал коммисионеру:

– Оставайтесь на козлах и скажите вашему кучеру, чтобы ехал за нами шагом. Мы пойдем немного пешком. Доктор, хотите?.. Как называется эта местность?

Коммисионер почтительно ответил:

– Долина Иосафата, господин.

– Да черт меня побери, так она действительно, существует! А я думал это так только… в Библии… По этим самым местам ходил Спаситель!… Доктор! Доктор! Что вы скажете на это!… Ах да!…Но вам…но вашему сердцу эти места тоже что‑нибудь говорят. Эти старые стены, эта долина…

– Иерусалим! – произнес Фридрих тихим дрожащим голосом. Он совершенно не мог объяснить себе, почему его так волнуют эти смутные очертания незнакомого города…Быть может, воспоминанья о словах, слышанных в раннем детстве? О молитвах, которые шептал его отец? Картина вечернего пасхального служения вспыхнула в его памяти. Одна из немногих древнееврейских фраз, которые он помнил еще, прозвенела в его душе: «Лешуна або Берушалаим»… Через год в Иерусалиме!… И он увидел себя маленьким мальчиком, идущим в синогогу со своим отцом. Ах! Нет больше веры, нет юности, нет отца…

Перед ним в сказочном лунном сияньи стояли стены Иерусалима. Глаза его подернулись влагой и сердце обожгла горячая волна. Слезы медленно покатились по его щекам. Он остановился.

Кингскурт выразительным жестом приказал кучеру остановиться и беззвучно отошел на несколько шагов от Фридриха, чтобы не мешать его скорбно благоговейному раздумью…

Фридрих глубоко вздохнул и очнулся от грез.

– Простите, м‑р Кингскурт, – сказал он – я заставил вас ждать. Я был… я так странно чувствую себя… Я не понимаю даже, что со мной происходит…

Но Кингскурт взял его под руку и сказал необычным мягким тоном.

– Слушайте, Фридрих Левенберг, я вас очень люблю!..

И в великом безмолвии лунной ночи христианин и еврей шли рука об руку к древнему священному Иерусалиму…

Днем вид города был менее привлекателен.

Крики, вонь, мелькание пестрых грязных тканей, суета, беготня оборванных людей в тесных душных улицах, нищие, больные, голодные плачущие дети, визгливые голоса женщин, резкие крики разносчиков.

Некогда царственный Иерусалим глубже пасть не мог!

Кингскурт и Фридрих осматривали знаменитые площади, здания, развалины. Пришли они и в грустную улицу со скорбной стеной древнего иудейского храма. Группа нищих, деловито и назойливо вымаливавших подачки у священных развалин, производила отталкивающее впечатление. . .

– Вы видите, мистер Кингскурт – сказал Фридрих – еврейство, действительно, погибло, и мечтать о возрождении – безумие. От еврейской нации остались только развалины древнего храма.

И сколько бы я ни копался в своей душе с этими жалкими, несчастными, торгующими национальной скорбью – я ничего общего иметь не могу…

Он говорил довольно громко, полагая, что кроме Кингскурта его здесь никто не поймет. Но кроме нищих и проводников перед скорбной стеной стоял еще один человек в европейском платье. На слова Фридриха он обернулся и сказал вполне литературным немецким языком, но с заметным иностранным акцентом:

– Судя по вашим словам, вы еврей или еврейского происхождения.

– Да – с удивлением ответил Фридрих.

– В таком случай позвольте мне заметить вам, что вы очень ошибаетесь – продолжал незнакомец. – От еврейства остались не одни только старые плиты и несчастные попрошайки. В настоящее время еврейскую нацию нельзя судить ни по ее нищим, ни по богачам.

– Я не богач – сказал Фридрих.

– Я вижу, кто вы: вы чужой своему народу. Если бы вы приехали к нам, в Россию, вы убедились бы, что еврейский народ еще существует. Для нас жива еще легенда нашего могущества, мы сохранили еще любовь к прошлому и верим в будущее. У нас самые лучшие евреи, самые образованные остались верны еврейству, как нации. Мы не желаем принадлежать ни к какой другой. Мы остались тем, чем были наши отцы.

– Это очень хорошо! – горячо одобрил мистер Кингскурт.

Фридрих слегка пожал плечами, но сказал еще несколько вежливых слов незнакомцу и пошел с Кингскуртом дальше.

Когда они были на другом конце улицы и огибали угол, они оглянулись. Русский еврей стоял еще перед скорбной стеной, погруженный в беззвучную молитву.

Вечером они опять увидели его в английском отеле, в котором остановились. Он сидел за столом с молодой женщиной, очевидно, дочерью. После обеда они встретились в общей гостиной.

Предобеденный разговор тотчас же возобновился. Русский назвал свою фамилию: Д‑р Айхенштам.

– Я по профессии врач –сообщил он. – Моя дочь тоже.

– Как? Ваша дочь врач? – заинтересовался Кингскурт.

– Да, она изучала медицину в Париже. Это целая бездна премудрости, моя Саша.

Девушка вспыхнула до ушей.

– Что ты, папа! – скромно отклонила она похвалу.

Д‑р Айхенштам провел рукой по длинной седеющей бороде:

– Отчего же не сказать правду… Но мы здесь не удовольствия ради живем. Мы лечим глазные болезни. К прискорбию, здесь тьма больных. Грязь и запущенность мстят за себя. А как хорошо могло бы быть здесь! Ведь эта страна – золотая страна.

– Эта страна? – недоверчиво спросил Фридрих. Но ведь сказка о медовых реках и кисельных берегах – не больше как сказка.

– Нет, это правда! – горячо воскликнул Айхенштам. – Здесь только люди нужны, и тогда все будет здесь.

– Ну! От людей добра ждать нельзя! – решительно вставил Кингскурт.

Саша обратилась к отцу:

– Ты бы посоветовал им посмотреть колонии.

– Какие колонии? – спросил Фридрих.

– Наши еврейские поселения, – ответил врач. – Вы и про это ничего не знаете? Ведь это одно из самых замечательных явлений в современной жизни евреев. В разных городах Европы и Америки образовались общества, так называемые «Почитатели Сиона», с целью создать из евреев здесь, в нашем старом отечестве, земледельцев. В настоящее время есть уже множество таких еврейских деревень. Некоторые богатые жертвователи ассигновали на это дело довольно крупные суммы. Непременно посетите эти колонии, прежде чем оставите Палестину.

Кингскурт сказал:

– Можем осмотреть их, если вам угодно, Левенберг.

Фридрих поспешил согласиться.

На следующий день они отправились в сопровождении Айхенштама и Саши на оливковую гору. В нескольких саженях от вершины они проезжали мимо нарядной виллы одной английской дамы.

– Видите, – сказал русский еврей, – на старой земле можно очевидно воздвигать современные дворцы. Чудесная мысль – поселиться здесь. Это и моя мечта!

– Или, по крайней мере, глазную лечебницу построить здесь, – сказала Саша с милой улыбкой.

С оливковой горы они любовались видом холмистого города и каменными волнами горного хребта, который тянулся до самого моря.

Фридрих стал задумчив.

– Как хорош, вероятно, был когда‑то Иерусалим! Быть может, потому отцы наши и не могли его забыть. Быть может, оттого в них и не умирало желание вернуться сюда?

Айхенштам мечтательно заметил:

– Мне этот вид напоминает Рим. На холмах можно было бы выстроить мировой город, нечто поразительное по величие и красоте! Представьте себе картину, которая открывалась бы отсюда! Великолепнее чем с Гвианикуло! Ах, если бы мои старые глаза еще увидели это!..

– Мы не доживем до этого, – печально сказала Саша.

Кингскурт в душе удивлялся этим мечтателям и, оставшись вдвоем с Фридрихом, заметил:

– Это удивительная пара, отец с дочерью. Так практичны и так наивны. Я представлял себе евреев совершенно другими.

На следующий день они простились с ними и, следуя их совету, поехали в земледельческие колонии, Они осматривали Ришон‑ле‑Сион, Рехобот и другие поселения, имевшие вид оазисов в этой истощенной местности. Много прилежных рук должны были работать здесь, пока эта пустыня вновь ожила. Они видели прекрасно возделанные поля, превосходные виноградники, роскошные лимонные рощи.

– Все это появилось за каких‑нибудь десять, пятнадцать лет, – говорил им представитель колонии Рехобот, к которому Айхенштам дал им письмо. После гонений на евреев в России в восьмидесятых годах и началось это движение. Но есть колонии, несравненно лучше нашей. Например, Катра. Она основана образованными людьми. Они оставили свои книги и стали обрабатывать землю. Таких крестьян нет, вероятно, нигде. Люди с высшим образованием, и пашут, сеют, жнут…

– Вот так штука, черт побери! – воскликнул мистер Кингскурт.

Но когда, представитель колонии Рехобот предложил молодым людям сесть на коней, он не находил уже достаточно крепких слов, чтобы выразить свое изумление. Молодежь разыграла перед гостями какую‑то дикую арабскую фантазию верховой езды. Сначала они, как стрелы, помчались в поле, распустили своих коней, с криком и гиканьем опять вскочили на них, на всем бегу бросали вверх и ловили шапки, кувыркались, ломались и, наконец, поскакали все в ряд и запели древнееврейский гимн.

Кингскурт был вне себя от восторга.

– Гром, молния и тысяча чертей! Да они скачут, как демоны!

Но Фридриха не занимали эти проявления здоровой жизнерадостности, и он торопил Кингскурта в обратный путь.

Из колонии они той же дорогой вернулись в Яффу. Яхта уже готова была к отъезду, и в последних числах декабря они отчалили от Палестины и взяли курс на Порт‑Саид. Здесь они пробыли два дня и поехали дальше через Суэцкий канал. Вечером 31 декабря 1902 года они вошли в Красное море Левенбергом опять овладела глухая гнетущая тоска. В таком настроении он бывал равнодушен ко всему.

После заката солнца Кингскурт позвал его на палубу.

– Сегодня, доктор, мы с вами кутнем. – Взгляните‑ка на меню. И несколько серебряных головок нам заморозят!

– Разве сегодня какой‑нибудь исключительный день, мистер Кингскурт?

– Да неужели вы не знаете? последний день года. Это вовсе не пустой звук это число – если вообще времяисчесление имеет какой либо смысл…

– Для нас оно не имеет никакого значения – нехотя сказал Фридрих. – Ведь для нас начинается новая жизнь, вне времени…

– Конечно, конечно! А все‑таки это прелюбопытный денек. В полночь мы швырнем в море время, и когда, волны унесут век, в который мы присуждены были я к жизни, мы будем думать о чем‑нибудь великом, прекрасном!.. Я прикажу приготовить хороший пунш!.. Как‑никак, это одна из приятнейших вещей в юдоли земной жизни.

И программа была в точности исполнена. Кингскурт пил за десятерых и весь вечер был бодр и свеж и говорил без умолку, тогда как Фридрих после первых же рюмок почувствовал туман в голове, и, когда било двенадцать, уже как во сне слышал слова Кингскурта:

– Полночь! – воскликнул он громовым голосом. – Исчезни, время! Я поднимаю бокал за смерть твою! Чем ты было? Позором, кровью, гнусностью и ложью! Выпьем, человек, муж, изолированный современник!

– Я не могу больше – заплетающимся языком сказал Фридрих.

– Дитя! Встаньте‑ка, на цыпочки поднимитесь… Классическая местность. Здесь ваш старый Моисей показал один из своих фокусов… Они прошли море, не замочив ног… верно, тогда был отлив.. А стада фараона пошли за ними и потонули. Ничего удивительного! Попали в прилив… Вполне естественно! Но мне это именно импонирует! Самая простая вещь! Но надо уметь воспользоваться ею! Подумайте только, какое это было жалкое время, и что сумел сделать, тем не менее, ваш старый Моисей. Если б он теперь опять явился и увидел бы все эти чудеса – железные дороги, телеграфы, телефоны, машины, пароходы, яхты с электрическими рефлекторами. Он ничего бы не понял. И пришлось бы дня три, быть может, все. это объяснять, ему… Но после трех дней, он все понял бы. И знаете, что он тогда сделал бы? Расхохотался! Страшно, злобно хохотал бы! Потому что люди не знают, что делать со всеми сказочными открытиями, завоеваниями в области техники, науки!

В отдельных личных, так сказать, случаях мы сознаем, что люди злы. Но при объективном наблюдении, мы убеждаемся, что они только глупы. Безгранично глупы, глупы, глупы!

Мир никогда не был так богат, как теперь, и никогда не было так много бедных. Люди мрут с голоду, а неиспользованные хлеба гниют. Меня это нисколько не сокрушает. Чем больше людей погибнет, тем менее останется лживых, бесчестных, вероломных… Фридрих сделал над собой усилие и промолвил:

– А вам не кажется, мистер Кингскурт, что люди были бы гораздо лучше, если бы им легче жилось?

– О, нет! Если бы я так думал, я не бежал бы на пустынный остров, а пошел бы к людям и сказал бы им, научил бы их, что надо делать, чтобы жилось легче, чтоб дышалось вольней! Не через тысячу, сто, пятьдесят лет, мог бы совершиться. переворот… Сегодня же! В один день! С теми идеями, знаниями, средствами, которыми человечество обладает сегодня, 31‑го декабря, 1902 года можно сделать все! Нет никакой надобности ни в философском камне, ни в воздушных экипажах. Есть же уже все необходимое для того, чтобы создать иную, лучшую жизнь? И знаете, кто должен проложить к ней путь? Вы! Вы, евреи! Именно потому, что вам так плохо живется. Вам нечего терять. Вы могли бы сделать великий опыт, показать пример всему человечеству и там, где мы были с вами… на старой земле, создать новую страну. И это будет вашим возрождением!

Последние слова Фридрих Левенберг слышал уже во сне. Он уснул и убаюканный мечтами плыл на встречу неведомому будущему.

## КНИГА ВТОРАЯ.

ХАЙФА. 1923 ГОД I

Яхта Кингскурта опять плыла по Красному морю, но в обратном направлении.

Борода и волосы Кингскурта побелели, как снег. И на висках Фридриха уже заблестели первые серебряные нити.

Старик позвал его на палубу.

– Ола! Фритц! Поднимитесь‑ка наверх!

– Что скажете, Кингскурт? – сказал Левенберг, выходя из каюты.

– Черт побери! Ничего не понимаю! С тех пор, как мы едем по Красному морю, не вижу почти пассажирских судов. Грузовых много. А, помните, двадцать лет тому назад, в 1902 году. Какое тогда было движение! Ост‑индские пароходы, китайские! А эти неуклюжие грузовые суда идут только в африканские гавани и в Мадагаскар. Я спрашивал у этого идиота, у лоцмана, про каждый проходящей пароход. Оказывается, в этих водах теперь нет ни японцев, ни китайцев, ни ост‑индийцев: ходят только торговые суда. Очевидно, Англия за эти двадцать лет утратила свои. Индийские владения. Но кому же они принадлежат теперь, черт возьми!

– Спросите у лоцмана, если это вас интересует.

– Ничего больше спрашивать не буду. Приеду в Европу – узнаю. Я не любопытен – а вы, Фритцхен?

– Я тем менее, Кингскурт. Для меня все безразлично. За эти двадцать лет я утратил всякий интерес ко всем событиям вне нашего милого острова. У меня нет в живых ни друзей, ни родных. О чем мне узнавать? Про кого мне спрашивать?

Кингскурт удобно уселся в глубоком мягком кресле и закурил толстую сигару.

– А ведь пребывание на пустынном острове пошло вам в прок, Фритц! Когда я вспомню только, какой вы были двадцать лет назад, зеленый, худенький еврейчик, с впалой грудью… А теперь – красавец‑мужчина, богатырь! Мне кажется, вы теперь опаснейший для женщин человек.

– Вы с ума сошли, Кингскурт! – сказал Фридрих смеясь. – К чести вашей, я хочу думать, что в Европу вы тащите меня не с тем, чтобы меня женить?

Кингскурт громко расхохотался:

– Экая скотина! Женить! Дурак я, что ли, по вашему? Чтобы я стал тогда делать с вами?

– Быть может, вы рассчитываете таким путем отделаться от меня. Ведь я вам порядком‑таки надоел.

– Эта скотина еще напрашивается на комплименты! – воскликнул старик; чем благодушнее он бывал настроен, тем охотней и сильней он обыкновенно, ругался. – Вы прекрасно знаете, Фритцхен, что я без вас не мог бы жить больше. И все это путешествие я затеял только ради вас. Чтобы вы развлеклись, и согласились потом провести со мной еще несколько лет.

– Послушайте, Кингскурт, я не умею так крепко выражаться, как вы, но это… это, чтоб не сказать больше…

– Ослиная глупость?

– Нечто в этом роде? Выказал я хоть раз малейшее недовольство? Я был счастлив на нашем острове, совершенно счастлив. Эти двадцать лет прошли для меня, как сон. Словно вы вчера только, в этом же Красном море, обращались с прощальной речью ко времени? Я никогда не уехал бы с этого благословенного острова, никогда! И теперь вы уверяете меня, что ради меня едете в Европу! И вам не стыдно прибегать к таким уловкам. Вам хочется знать, что делается на свете, вас тянет к людям, вас – но не меня! Лучшим доказательством моего полнейшего равнодушия к миру и к людям, служит то, что я ни разу за все эти годы не брал в руки газет.

– Не говорите глупостей: ведь у нас их не было. Это у меня первое правило нравственной гигиены – не читать газет.

– Вы ошибаетесь! Несколько лет тому назад мы получили посылку из Раротонга. Все вещи были завернуты в английские и французские газеты. Меня чуть было не одолело искушение прочитать их. Если это даже были старые, очень отарые номера – я‑то, во всяком случае, мог вычитать в них много нового. Это было в 1917 году и я пятнадцать лет ничего не слыхал о мире, и о людях. Но я собрал все газеты и сжег их, не читая. А вы говорите, что я соскучился по Европе.

Старик ухмыльнулся.

– Ну, раз вы уличили меня во лжи – ничего не поделаешь, надо сознаться. Да, я хочу знать, что стало с гнусным миром? И все так же ли злы люди и глупы, как двадцать лет тому назад?

– Мой добрый Кингскурт, держу пари – мы с радостью уедем опять на наш тихий остров.

– Я даже в этом не сомневаюсь. И за неимением партнера – ваше пари следовательно, состояться не может.

Яхта прошла Суэцкий канал. В Порт‑Саиде они сошли на сушу. В гавани шла оживленная выгрузка и нагрузка товаров, но на городских площадях не было уже прежнего оживления и пестрой разнородной толпы, составлявшей когда‑то оригинальность этого города. Здесь, в прежнее время, скрещивались пути всех судов, шедших с запада на восток и с востока на запад. Когда‑то здесь можно было встретить представителей всех стран, блестящее яркое разнообразие типов, нравов, костюмов. Теперь перед грязными кофейнями болтались лишь редкие группы полупьяных матросов.

Кингскурт и Фридрих вошли в лавку купить сигары. Им показали несколько коробок. Они спросили лучшие сорта. Но лавочник, грек, уныло ответил:

– Не держим. Никто не спрашивает. Хороших сигар здесь некому теперь покупать. Только матросы приходят за дешевыми папиросами да за махоркой.

– Ничего не понимаю! – сказал Кингскурт. – Неужели теперь никто не едет в Индию, в Австралию, в Китай?

– Давным‑давно уже едут другим путем.

– Другим путем! – воскликнул Фридрих. – Какой же может быть другой путь? Не вокруг же мыса Доброй Надежды!

Лавочник раздражительно ответил:

– Вам угодно подсмеяться надо мной. Каждому ребенку известно, что теперь в Азию не едут уже на Суэцкий канал.

Кингскурт и Левенберг обменялись изумленными взглядами. Старик проворчал:

– Конечно, это каждому ребенку известно. А мы вот такие невежды и ничего про этот проклятый новый, канал не знаем.

Грек гневно стукнул кулаком по столу:

– Вон убирайтесь! Нашли над кем потешаться! То сигар им дорогих подавай, то о каналах им рассказывай! Вон!

Кингскурт бросился было на грека с кулаками, но Фридрих удержал его и поспешно увел из лавки.

– Очевидно, в нашем отсутствии произошли великие события, о которых мы не знаем, Кингскурт.

– Черт меня побери, – очевидно! Надо разузнать, в чем дело.

Вернувшись в гавань, они обратились с расспросами, к капитану одного немецкого купеческого судна. Сообщение между Европой и Азией поддерживалось теперь другим путем: на Палестину.

– Но разве там имеются гавани, железные дороги? – спросил Фридрих.

Капитан от всего сердца рассмеялся:

– Имеются ли в Палестине гавани и железные дороги? Вы что же с луны свалились? Или вы никогда не видали газет, путеводителей?

– Нет, когда‑то видали… Мы и Палестину знаем немного, но как запущенную бедную страну…

– Ха, ха, ха! Запущенная страна! Если вы называете Палестину запущенной страной, то вы должно быть…очень избалованы.

– Послушайте, капитан, – сказал Кингскурт, мы, так и быть, скажем вам всю правду. Мы оба страшные невежды. Мы лет двадцать жили себе в свое удовольствие и ни о чем не думали, ничем не интересовались. Расскажите нам, пожалуйста, что случилось с этой Палестиной?

– О, это отняло бы больше времени, чем поездка туда. Если вы временем своим располагаете, пожертвуйте двумя днями и създите. Если бы вы пожелали оставить свою яхту, то в Яффе и Хайфе вы найдете самые быстроходные пароходы во все европейские и американские гавани.

– Нет, яхту мы не оставим – но в Палестину създить можно. А, Фритцхен, вы как полагаете? Давайте, посмотрим опять страну ваших предков.

– Меня так же мало тянет туда, как в Европу. Мне все равно…

И они поплыли в Хайфу.

В яркое весеннее утро, после мягкой теплой ночи, они увидели перед собой побережье Палестины; Оба стояли на капитанском мостке и пристально смотрели в бинокли.

– Я поклясться готов, что это бухта Акка – заметил Фридрих.

– Трудно сказать, – возразил Кингскурт. – Я отлично помню вид этой бухты. Двадцать лет тому назад она была пустынна, безлюдна. Но здесь, направо, никак Кармель, а по ту сторону налево очевидно Акка.

– Как все изменилось! – воскликнул Фридрих. – Положительно, здесь какое‑то чудо свершилсь.

Когда они подплыли ближе, они стали различать подробности развернувшейся перед ними картины. На рейде между Аккой и подножием Кармеля стояли огромные суда, какие начали строить уже в конце девятнадцатого столетия. За этим флотом выступала красивая линия бухты. На северной вершин Акка поднимались темные здания старо‑восточной архитектуры, огромные купола храмов и стройные минареты, прелестно выделявшиеся на воздушном фоне лазури. В общем эта часть побережья мало изменилась. Но на южной стороне, на изгибе береговой линии возникло истинное чудо. Из моря пышной зелени выступали изящные белые виллы. Вся местность от Акки до Кармеля казалась одним роскошным садом, и вершина холма сверкала короной прелестных зданий.

Так как они подъзжали с юга, то выступ горы некоторое время закрывал от них вид гавани и города Хайфы. Но когда и эта картина открылась перед ними, Кингскурт пришел в необузданный восторг и ругался всеми духами преисподней.

Дивный город раскинулся над беспредельной лазурью моря.

Далеко в море тянулся великолепный мол, и путешественники с первого взгляда убедились, что перед ними прекраснейшая, лучшая гавань на всем Средиземном море. Корабли всевозможных типов и размеров красовались в этом удобном надежном убежище.

Кингскурт и Фридрих не могли придти в себя от изумления.

На той морской карте, которую они знали и намека не было на эту гавань. Точно волшебством каким‑то создалась она у этих берегов. Очевидно, мир эти двадцать лет не дремал.

Яхта стала на якорь. Они пересели в лодку и сквозь строй судов, шум, гул и веселый говор матросов подъехали к пристани.

В ту же минуту какой‑то господин спускался в электрическую шлюпку, которая, очевидно, его ждала. При виде Кингскурта и его спутника, он остановился; как вкопанный и, широко раскрыв глаза, уставился на Фридриха.

Старик заметил это и проворчал:

– Что это с ним? Должно быть никогда культурных людей не видал!

Фридрих улыбнулся:

– Ну, это трудно предположить. Эти люди как будто культурнее нас с вами. Вернее, у нас вид не вполне современный. Поглядите‑ка наверх – какая красота! Какие изящные костюмы! И я думаю, наши платья вышли уже из моды!

Они сказали лодочнику, чтоб он подождал их на том же месте и пошли по лестнице вверх, в город, об оживлении и великолепии которого они уже на набережной получили некоторое представление. О незнакомце, так странно и пристально разглядывавшем их, они совершенно забыли. Но он шел за ними. Он старался уловить звуки языка, на котором они говорили. Наконец, подошел совсем близко, опередил их шага на два и остановился перед ними.

– Милостивый государь! – сказал Кингскурт, – что вам нужно от нас?

Незнакомец, не отвечая ему, обернулся к Фридриху и спросил мягким, дрожащим от волнения голосом:

– Вы доктор Фридрих Левенберг?

Фридрих вздрогнул от изумления, услышав свое имя в этом чуждом далеком городе, и ответил:

– Да, это я.

Тогда незнакомец бросился к нему на грудь и горячо расцеловал его в обе щеки. Затем он отступил на шаг и вытер слезы, дрожавшие на его ресницах. Это был цветущий стройный молодой человек лет тридцати со смуглым лицом, обрамленным небольшой черной бородкой.

– А вы кто? – спросил Фридрих, придя в себя от бурного приветствия.

– Я! Вы наверно забыли меня. Мое имя – Давид Литвак.

– Маленький мальчик из кофейни на Альзергрунде?…

– Да, доктор… Тот самый, которого вы спасли когда‑то от голодной смерти…

– Ах, не говорите об этом – прервал его Фридрих.

– Напротив! Мы еще много будем об этом говорить. Своим положением, своим настоящим, всем, всем я обязан вам… Но к этому мы еще вернемся… Пока же вы мой гость, и если этот господин ваш друг, то я буду счастлив видеть его у себя.

– Это мой лучший единственный друг в мире – мистер Кингскурт.

II

И прежде чем они успели опомниться, Давид Литвак уже увлек их за собою.

И только когда они очутились наверху, перед ними стала раскрываться во всей полноте красота этого удивительного города.

Перед ними лежала огромная площадь, окаймленная великолепными стильными зданиями. Посредине зеленел пальмовый сад, обведенный ажурной железной решеткой. Пальмы, обычные в этой стране дерева, росли также вдоль всех улиц, выходивших на площадь. Пальмы эти, очевидно, служили городу двойную службу: днем они давали тень, вечером свет, так как на верхушках висели, словно стекляные фрукты, большие электрические фонари.

Это была первая подробность, на которую Кингскурт обратил внимание. Потом он осведомился, что представляют собою дворцы, окаймлявшие площади. Давид. Литвак ответил, что это Колониальные банки и конторы разных европейских торговых обществ. Площадь и называется поэтому Народной.

И действительно, не только здания, но и весь вид площади с разноплеменной пестрой толпой и оживлением, вполне оправдывал ее название.

Здесь, очевидно, были представители всех стране и всех народов. Китайцы, персы, арабы деловито сновали по площади, яркие ткани востока красиво оттенялись преобладающими темными тонами европейских костюмов. Город производил впечатление выдающегося европейского центра какого‑нибудь большого итальянского приморского города. Лазурь неба и моря, богатство красок напоминали благословенную Ривьеру. Но здания здесь были красивее, новей, и уличное движение при всем лихорадочном оживлении, не сопровождалось обычным шумом. Отчасти это объяснялось сдержанностью восточных людей, но главным образом тем, что стука колес, топота копыт, окриков кучеров совершенно не слышно было. Мостовые были гладки и ровны, как панели, и автомобили катились почти беззвучно, лишь изредка предупреждая пешеходов сигнальными звонками.

В воздухе раздался глухой гул; путешественники быстро подняли головы.

– Тысяча чертей! Это что такое! – воскликнул Кингскурт, указывая на летевший над пальмовыми верхушками вагон, из окон которого выглядывали пассажиры, Колеса вагона были не внизу, а наверху, над крышей. Он висел в воздухе и несся по рельсам, вделанным в высокий мост.

Давид Литвак ответил:

– Это электрическая подвесная дорога. Вы, вероятно, и в Европе уже видели ее.

– Мы двадцать лет не были в Европе.

– Подвесная дорога не новость. Она уже в девятидесятых годах проведена была. между Барменом и Эльберфельдом. Мы тотчас же выстроили в наших городах такие дороги; они во‑первых значительно облегчают уличное движение, а во‑вторых требуют несравненно меньше затрат, чем метрополитены и обыкновенные дороги.

– Позвольте, позвольте – прервал его Кингскурт. – Вы говорите о городах! В Палестине, значит, много таких городов?

– Неужели вы этого не знаете, господа?

– Нет – ответил Фридрих – мы ничего не знаем, решительно ничего не знаем. Мы двадцать лет были мертвы.

– Я и считал вас мертвым, дорогой доктор – сказал Давид Литвак, любовно пожимая руку Левенберга.

– Разве вы разузнавали про меня? И откуда вы знаете мое имя? Насколько я помню, я тогда не назвал себя.

– Когда вы убежали от нас – очевидно, вы хотели избегнуть нашей благодарности – мы были прямо в отчаянии. И я подумал быть может, вы постоянный посетитель этой кофейни, тогда я наверно увижу вас там. И я много ночей ждал вас у подъезда. И отец мой тоже.

– Он еще жив, отец ваш?

– Да, слава Богу, и мать моя, и Мариам, которую вы видели еще грудным ребенком…

Наконец, мне пришла в голову мысль описать вашу внешность кельнеру. Он тотчас узнал вас по моему описанию и назвал мне ваше имя. Но каково было мое горе, когда он тут же сообщил мне, что вы пали жертвой несчастного случая в горах и что в газетах было сообщение о вашей смерти… Мы так горько оплакивали вас, доктор. И ежегодно зажигали свечу в день вашей смерти, о котором я вычитал в газетах…

– Зачем же вы свечу зажигали? – спросил Кингскурт.

– Это такой обычай у евреев – объяснил ему Фридрих. – В день годовщины чьей либо смерти, родные, близкие усопшего зажигают в память его свечу.

– Ах, я много, много должен вам рассказать, доктор! – сказал Давид Литвак. – Но зачем мы здесь стоим… Первым делом, я повезу вас к себе и прошу вас считать отныне дом мой своим… Пойдемте, господа!

– А наша лодка, наша яхта?

Давид Литвак обернулся к ливрейному лакею, следовавшему за ним в некотором отдалении и сказал ему несколько слов. Слуга удалился.

– Ну вот, господа. Все будет сделано. Лодка вернется к яхте, и ваши вещи доставят в Фридрихсгайм.

– Куда?

– В Фридрихсгайм. Это название моей виллы. Вы догадываетесь, в честь кого я так назвал ее. Что же, господа, поедем!

При всей задушевности и любезности, в тоне его звучало что‑то самоуверенное, твердое, и Кингскурт добродушно проворчал:

– Фритц, команда перешла к этому молодцу… Посмотрим, что из этого выйдет!

Давид Литвак остановил автомобиль и предложил своим гостям занять места. Когда он хотел войти за ними в экипаж, кто‑то окликнул его!

– Господин Литвак, господин Литвак! Он обернулся.

– А, это вы! Что скажете?

– В утренних газетах сказано было, что вы председательствуете сегодня в собрании в Акке. Это правда?

– Я сейчас хотел поехать туда, но я принужден отказаться… У меня сегодня более важные дела. Я сию минуту дам знать им по телефону.

– Позвольте мне это сделать за вас!

– Сделайте одолжение. Очень обяжете меня.

– Вероятно, какие‑нибудь важные гости? – полюбопытствовал господин, указывая через плечо, большим пальцем левой руки на автомобиль.

Давид улыбнулся, но, не отвечая на вопрос, кивнул ему головой и крикнул машинисту:

– В Фридрихсгайм!

– Мне знакомо, как будто, это лицо – сказал Фридрих, когда автомобиль покатил по мостовой. – Я, кажется, видел его когда‑то, но без седых бакенбардов и без пенсне.

– Да, он также из Вены. – Я часто заставлял его рассказывать мне про вас. Я не хотел сейчас позвать его с собой… Сегодня вы принадлежите мне одному… Он тоже был завсегдатаем этой кофейни на Альзергрунде. Ну, угадайте, кто это!

В голове Левенберга, как зарница, вспыхнуло воспоминание.

– Шифман! – сказал он, смеясь. – Как? И этот здесь?

– И этот, и много, много других евреев изо всех стран и городов.

Кингскурт, с жадным любопытством смотревший во все стороны, вставил вопрос:

– Уж не хотите ли вы этим сказать, что совершилось возвращение евреев в Палестину?

– Именно, это я и хочу сказать!

– Гром и молния! – воскликнул старик. – Их изгнали из Европы!

Давид добродушно рассмеялся:

– Ну, не рисуйте себе только каких‑нибудь ужасных средневековых картин. По крайней мере, в культурных странах изгнание такого характера не имело. Операция совершилась большей частью без кровопролития. В конце девятнадцатого и в начале двадцатого столетия дальнейшее пребывание евреев в Европе стало невозможным.

– Ах! Их выжили!

– Преследования были и социального и экономического характера. В делах их бойкотировали, рабочих морили голодом, к свободным профессиям всячески преграждали доступ, не говоря уже о высших нравственных страданиях, которые каждый интеллигентный, чуткий еврей переносил в те годы. Враги еврейства ни пред какими средствами не останавливались. Они вызвали из тьмы прошедших времен легенду об употреблении евреями христианской крови. Евреев обвиняли в отравлении прессы, как в средних веках их обвиняли в отравлении колодцев. Евреев‑рабочих ненавидели за то, что они понижают заработную плату, евреев –предпринимателей ненавидели, как эксплоататоров. Их ненавидели за то, что они зарабатывают деньги, и ненавидели за то что они тратят их. Они не должны были ни производить, ни потреблять. От государственных должностей они были отстранены, административные власти относились к ним с явным, нескрываемым предубеждением, в общественной жизни достоинство их страдало на каждом шагу. И при таких условиях, они или должны были сделаться смертельными врагами общества, основанного на несправедливости и человеконенавистничестве, или же найти себе убежище… Совершилось последнее, и мы здесь. Мы спаслись.

– В обетованную землю! – тихо сказал Фридрих.

– Да – серьезно и взволнованно ответил Давид Литвак. – На нашей старой дорогой земле мы основали новую общину. Я вас подробно ознакомлю с ней.

– Черт побери! Это ужасно интересно! Да у вас тут премного, видно, занимательных вещей! Я не решался прерывать чтение обвинительного акта против Европы, а мне очень хотелось расспросить вас о нескольких зданиях, мимо которых мы проехали.

– Я вам все покажу.

– Послушайте, милейший вы человек и еврей, я должен сделать вам одно признание, дабы вы не раскаялись потом в своем внимании ко мне. Надо вам знать, что я… я не еврей. А, так как же?…. Меня не вытурят, не выживут отсюда?

– Ну, что вы, Кингскурт! – пристыдил его Левенберг.

Давид Литвак спокойно ответил:

– Я с первых ваших слов понял, что вы не еврей. Но ни я, могу вас уверить, ни мои друзья ни какой разницей между людьми, кроме их нравственных отличий, не делаем. Мы не допрашиваем человека, какого он вероисповедания или происхождения. Он человек, и для нас этого совершенно достаточно…

– Черт побери! И все обитатели этой страны такого же образа мыслей?

– Нет, не скажу – ответил Давид. – Есть и другие течения…

– То‑то! В этом я и не сомневаюсь.

– Я не желаю вас утомлять теперь описанием борьбы политических партий… Она здесь такая же, как во всем мире. Одно только могу сказать: основные законы гуманности соблюдаются безусловно всеми. Что касается религиозной терпимости, что рядом с нашими храмами вы увидите и христианские, мусульманские, буддийские, и браминские. последние встречаются преимущественно в приморских городах, как например, здесь в Хайфе, в Тире, в Сидоне и в больших городах, лежащих вдоль железнодорожной ветви, ведущей к Эвфрату, как Дамаск и Тадмор.

Фридрих изумился:

‑Тадмор! И город Пальмира вновь ожил?

Давид утвердительно кивнул головой, и сказал:

– Но великое зрелище единения народов вы увидите только в Иерусалиме.

– Лопни глаза мои, если я что‑нибудь понимаю! – воскликнул Кингскурт.

Они были в это мгновенье на перекрестке нескольких улиц, где ввиду большого скопления экипажей, произошло небольшое замедление в движении. Автомобиль должен был остановиться. Тут только они убедились, как практичны подвесные железные дороги. Высоко, над самой серединой улицы неслись с быстротою молнии большие вагоны, никого не стесняя, и не смущая.

Благодаря вынужденной остановке, Кингскурт и Левенберг имели возможность полюбоваться перспективой улиц, скрещивавшихся в этом месте, и красивым разнообразием стилей. Затем, они опять продолжали путь по оживленным кварталам города. Дома были большей частью небольшие, изящные, очевидно, приспособленные для помещения одной только семьи, как во многих бельгийских городах. Среди них выделялись своими размерами и роскошью внешней отделки торговые дома и общественные учреждения. Давид указывал им на некоторые здания, мимо которых они проезжали: вот морское министерство, министерство торговли, просвещения, электрическая станция…

Внимание путешественников привлекло большое светлое здание, фасад которого украшал прелестный расписанный фресками подъезд.

– Это дом правления по строительной части – объяснил им Давид. – Здесь живет Штейнек, наш главный архитектор. По его плану строился этот город.

– Нелегкая, вероятно, это была задача – заметил Фридрих.

– Конечно, нелегкая, но приятная… Он широко пользовался знаниями и искусством, уже достигнутыми Европой. Никогда в истории города не строились так быстро и притом так красиво, как у нас потому что в прежние века люди не располагали такой усовершенствованной техникой. Продуктивность культурного человечества уже в конце девятнадцатого столетия достигла в этом отношении поразительных размеров. Нам оставалось только воспользоваться готовой культурой. Как мы это сделали, я расскажу в другой раз.

Они находились теперь в дачном предместьи города. Дорога пошла в гору и через несколько минут они выехали на Кармель, Из пышных душистых садов весело белели нарядные виллы. На нескольких домах мавританского стиля они заметили деревянные решетки красивой плетеной работы.

Давид предупредил вопрос:

– Здесь живут знатные магометане. А вот и друг мой Решид Бей.

В кованой железной калитке одного сада, мимо которого они проезжали, стоял красивый мужчина лет тридцати пяти, в темном европейском платье и турецкой феске. Он еще издали послал им обычное восточное приветствие: сделал в воздухе широкое движение, которое означало, что он поднимает прах с земли и лобзает его. Давид бросил ему несколько слов по‑турецки, на что тот ответил по‑немецки с легким северным акцентом: «Желаю вам приятно провести время».

Кингскурт сделал большие глаза.

– Это что за мусульманчик?

Давид рассмеялся:

– Он учился в Берлине. Отец его в свое время сообразил экономическую выгоду переселения евреев, принял участие в наших первых промышленных предприятиях и разбогател. Решид Бей, впрочем также член нашей новой общины.

– Новой общины? – повторил Фридрих. Кингскурт добавил:

– Милый вы человек, мы все равно что новорожденные телята… и вы все, безусловно все должны нам объяснять. Мы понятия не имеем ни о старой ни о новой общине.

– Нет, старую‑то вы наверно знаете или знали – сказал Давид. А с новой я ознакомлю вас, когда в нашем распоряжении будет больше времени.. Мы сейчас же будем дома.

С извилистой дороги открывался теперь широкий ласкающий душу вид: город и гавань Хайфы, далекая бухта, окаймленная пышными садами, и на другом конце Акка с своими живописными уступами. Наконец они выехали на северную вершину Кармеля. Направо и налево, к северу и югу тянулось дивное побережье Палестины, а беспредельная гладь моря, лазурная, золотистая таинственно и нежно сливалась с небесами в голубой дали. Белые пенные гребни волн, как чайки, налетали на берег и таяли, а вслед за ними набегали другие.

Давид остановил экипаж, чтоб дать своим гостям возможность насладиться волшебной картиной.

– Вот, доктор –сказал он, обращаясь к Фридриху – это страна отцов наших.

И Фридрих не мог объяснить себе, отчего при этих простых словах Давида, глаза его наполнились. слезами. Это было далеко не то настроение, которое он переживал двадцать лет тому назад, ночью, в Иерусалиме. Тогда перед ним была облитая лунным блеском пустыня, смерть, теперь перед ним яркая смеющаяся жизнь. Он перевел глаза на Давида. Несчастный еврейский мальчик, побиравшийся в зимние ночи у подъездов кофеен! Теперь это сильный и свободный, здоровый, образованный человек, который очевидно, чувствует под собою твердую почву. Давид ничего еще не говорил о своих делах, но вероятно, он поставлен был очень хорошо, раз он имел возможность жить в этой прелестной местности, застроенной одними виллами и замками. И по‑видимому, он занимал также видное общественное положение. Фридрих заметил, что на всем протяжении пути масса народу почтительно кланялась ему; даже пожилые люди, заметив его, поспешно снимали шляпы. Он стоял рядом с ними и с выражением глубокого счастья на лице, смотрел на волшебную даль. И только в это мгновенье Фридрих узнал в этом свободном сильном человек удивительного мальчика с Бриштенгауэр, который мечтал когда‑то поехать на родину в Палестину.

III

Фридрихсгайм представлял собою высокий приветливый замок, окруженный большим парком. Перед белым крыльцом лежал огромный каменный лев. И Фридрих опять вспомнил слова маленького сынишки разносчика, когда зашла речь про льва Иегуды. Мальчуган сказал тогда: Иегуда опять может вернуть то, что было у него. Наш старый Бог еще жив!.. И мечта его исполнилась…

Когда Давид с своими гостями вошел в ворота, привратник нажал кнопку звонка, и на крыльце их встретили два лакея.

– Попросите барыню и барышню вниз – распорядился Давид, и один из лакеев тотчас пошел наверх по широкой устланной коврами лестнице. Второй лакей распахнул перед гостями двери из светлого обширного вестибюля в гостиную. Они вошли в большую высокую комнату, украшенную великолепными произведениями искусства. Стены обтянуты были розоватым шелком; живописными группами стояла мебель тонкой художественной работы. С потолка, играя золотом и хрусталем, спускалась электрическая люстра. В зеркальные стекла окон широкими волнами вливался яркий свет. За окнами мягко зеленела лужайка с цветочными клумбами вплоть до мраморной балюстрады, за которой ласково голубело безбрежное море; По обеим сторонам входной двери стояли два серебряных канделябра величиною в человеческий рост. В узком простенке висела большая картина, изображающая старика и старуху в простых темных платьях…

– Это мои родители! – сказал Давид, заметив, что Левенберг смотрит на картину.

– Я никоим образом не узнал бы их ответил Фридрих улыбаясь.

– А это кто? – он указал на висевший над камином писанный масляными красками портрет молодой женщины поразительной красоты.

– Это сестра моя, Мириам. Вы сейчас же убедитесь, схож ли портрет с оригиналом.

В то же мгновенье в дверях показалась Мириам и цветущая молодая женщина, жена Давида.

– Сара, Мириам – взволнованным голосом обратился к ним Давид. – У нас дорогой нежданный гость, и этот день принес мне величайшую радость в моей жизни. Угадайте, какое счастье послала нам судьба! Угадайте, кого вы видите перед собою! Того, кого мы считали умершим, нашего благодетеля, нашего спасителя.

Дамы с недоумением смотрели на гостей.

– Неужели… неужели Фридрих Левенберг? – нерешительно спросила молодая девушка…

– Он сам. Мириам! Он сам! Вот он!

Она быстро подошла к гостю и протянув ему обе руки, радостно и сердечно приветствовала его, как старого доброго друга.

Ему и странно и отрадно было слышать свое имя в этих милых девичьих устах. И ему показалось на миг, что это все сон, что он в грезах очутился в этом волшебном месте, среди этих чудесных людей.

– А это мистер Кингскурт, друг доктора, следовательно и наш друг и драгоценный гость. Давид в нескольких словах рассказал дамам, как он в гавани обратил внимание на двух иностранцев и тотчас узнал Фридриха. Он мальчиком еще глубоко запечатлел в своей памяти его черты, и к тому же Фридрих в сущности мало изменился. В отель, разумеется, они ни в каком случае не переедут, весь его дом в их распоряжении.

Сара хотела тотчас же проводить гостей в отведенные им комнаты. Но Давид не хотел ни на минуту расставаться с ними и сам повел их наверх.

– Пойдемте! Я хочу вам показать молодого человека, которого также зовут Фридрихом.

Все пятеро поднялись в первый этаж. Перед последней дверью в коридоре Давид остановился.

– Здесь помещается сия особа – сказал он с счастливой улыбкой.

Это была большая белая комната. Посередине восседал на высоком детском стуле румяный, толстощекий мальчуган. Он сбросил с ножек туфельки и усердно. болтал толстыми ножками, надеясь очевидно, таким способом сбросить и чулочки. Перед ним стояла пожилая няня с тарелкой молочной каши, и ребенок плескал по ней ложкой, считая это занятие, вероятно, и важнее и занимательнее самого процесса еды.

– Этот глупыш – мой сын Фридрих – честь имею представить! – сказал Давид, и в первый раз еще гости уловили в его голосе горделивые нотки.

Но Фридрих младший уронил ложку. Внимание его всецело поглотила белая борода Кингскурта. Он радостно вскрикнул и потянулся к старику обеими ручонками, Кингскурт протянул ему указательный палец, и малыш решительно и крепко ухватился за него.

Все направились обратно к двери, только Кингскурт не трогался с места.

– Что же вы, мистер Кингскурт!

– Да, этот озорник меня не пускает! – ответил он, видимо польщенный вниманием малыша, и битый час еще пробыл в его комнате..

С этого мгновенья между старым человеконенавистником и юным Литваком завязалась тесная дружба. В какой форме проявлялось взаимное расположение, никто о точностью сказать не мог, потому что ребенок говорить не умел, а Кингскурт, отчаянно ругаясь, уверял, что никакой нежности к ребенку не питает. Но потом из сообщений предательницы‑няни узнали, что Кингскурт часто прибегал в детскую, когда знал, что никого там не застанет и проделывал перед мальчиком самые невероятные штуки. Сажал его к себе верхом на плечи и скакал с ним по комнате, или ложился на пол, и изображал собою мост, по которому малыш шествовал с шумной радостью. Когда же ребенок капризничал, Кингскурт делал какие‑то странные прыжки, должно быть, европейские танцы и пел старинные немецкие песни, причем делал заметные усилия, чтобы придать своему резкому голосу приятную благозвучность.

В первый день своего знакомства с мальчиком, Кингскурт явился к обеду с смущенным лицом. Но его тайные опасения оказались напрасными. За столом все время шел перекрестный оживленный разговор о Палестине, и его внезапная слабость к ребенку этот раз не подвергалась обсуждению.

Они сидели в изящной, выложенной деревом столовой, и с аппетитом ели вкусный обед. Вина привели Кингскурта в отличное расположение духа. Он тут же к изумлению своему узнал, что это исключительно палестинские вина и частью из виноградников Давида. Еще в восьмидесятых годах прошедшего столетия местные колонисты начали культивировать здесь виноград. Они разводили самые лучшие дорогие сорта, которые все отлично привились.

Мириам, извинившись перед гостями, встала из за стола, до окончания обеда. Ей надо было уходить в школу.

Когда она вышла, Давид ответил на вопрос Левенберга:

– Да, Мириам учительница. Она преподает в женской гимназии. Ее специальность: французский и английский языки.

Кингскурт грубовато заметил:

– Вот как! Она принуждена, бедная, давать уроки. В этих словах был прозрачный укор Давиду, на который он ответил с добродушной улыбкой.

– Она не ради хлеба делает это. Настолько‑то я, слава Богу, обеспечен, чтобы сестра моя ни в чем нужды не знала. Но у нее есть обязанности, которые она и исполняет, потому что у нее есть и права. В нашей новой общине женщины и мужчины совершенно уравнены в правах.

– Черт побери!

– Право голоса им, разумеется, предоставлено. Они работали рука об руку с нами при созидании новых учреждений, и их страстное отношение к делу окрыляло и вдохновляло мужчин. С нашей стороны было бы черной неблагодарностью замкнуть их интересы в пределах семейной только жизни или позорного сераля.

– Вы говорили по дороге – вставил Левенберг, – что Решид‑бей член вашей общины. Ваши слова подсказывают мне один вопрос.

– Я его угадываю, доктор.

Мы никого не принуждаем вступать в нашу общину, а для членов вовсе не обязательно пользоваться своими правами. Это всецело предоставляется на их усмотрение. Разве вы и в старой Европе не знавали людей, которые нисколько не интересовались выборами и никогда не решились бы подойти даже к урне? Так же обстоит дело с избирательным правом женщин в нашей общине. Вы не думайте только, что семейные, материнские обязанности страдают от общественного положения женщин. Моя жена, например, никогда не бывает ни в одном собрании.

– В этом только Фритцхен виноват – сказала Сара, улыбаясь.

Кингскурт представил себе детскую, с толстощеким шалуном и мечтательно заметил;

– Да, я думаю… Давид продолжал:

– Сара сама кормила нашего мальчика и, благодаря этому обстоятельству, немного отстала от общественных интересов. Раньше она принадлежала к радикальной оппозиции. Я и познакомился с ней, как с противницей. Теперь она только дома делает мне оппозицию, но, разумеется, самую мирную.

Кингскурт громко расхохотался.

– Да это чертовски остроумный способ сближения с оппозицией. И как это упрощает разные политические конфликты…

– Женщины у нас настолько благоразумны продолжал Давид, – что не жертвуют собою и своим личным счастьем во имя общественных интересов. Да в нормально устроенной общине и надобности в этом нет. Правоспособность женщин определилась еще в прошедшем столетии. Во многих странах женщины уже пользовались правом голоса и допускались в качестве избирателей и выборных в разные общества. Они проявили много деловитости и серьезного отношения к делу. Словом, опыты предоставления женщинам прав удались вполне и мы, конечно, не преминули воспользоваться ими. Впрочем, у нас политика ни для женщин, ни для мужчин не существует, как занятие или призвание. От этого зла мы сумели себя оградить.

Мы тотчас распознаем людей, которые рассчитывают жить не трудом, а краснобайством; мы их презираем и стараемся обезвредить их. И в судебных разборах слова «профессиональный общественный деятель» квалифицируются, как оскорбление чести. Один этот факт, кажется, достаточно характеризует наш общественный строй.

– Как же вы распределяете общественные должности? Ведь судя по зданиям, которые вы показывали нам, и у вас, очевидно, должны быть разные должности, раз имеются общественные учреждения.

– Конечно. У нас есть платные и почетные должности. На первые назначаются обыкновенно люди, по характеру своих профессиональных знаний пригодные для исполнения тех или иных обязанностей. Приверженцы партий, каких бы то ни было, в общественные учреждения, в качестве ответственных служащих не допускаются, и чиновники не имеют права принимать участие в публичных прениях общественно‑политического характера. Что касается почетных должностей, то в этом отношении мы придерживаемся чрезвычайно простой системы. Мы со всевозможной деликатностью обуздываем политический пыл разных честолюбцев и карьеристов, и на почетные должности приглашаем лиц, которые совершенно их не добиваются. Мы все ставим себе в гражданский долг отмечать истинные заслуги и охранять нравственные устои нашей общины. Нынешний президент наш – старый русский окулист. Он очень неохотно принял эту честь, так как принужден был отказаться от своей практики.

– Разве она была так доходна? – спросил Кингскурт.

– О, нет, он лечил преимущественно бедных. Он передал свою практику дочери. Она тоже очень знающий врач. Теперь она заведует глазной лечебницей. Чудесная женщина. Не вышла замуж и всю свою жизнь посвятила бедным больным. Она представляет собою блестящее доказательство огромной пользы, которую могут приносить в разумно устроенном обществе старые девушки, одинокие женщины. Когда‑то их вышучивали, тяготились ими. У нас они подвизаются на многих поприщах, на пользу себе и другим. Вся общественная благотворительность в руках таких женщин. И в деле благотворительности мы ничего нового не создали. Мы только усовершенствовали существовавшие уже в Европе типы учреждений и централизировали их. Больницы, санатории, детские сады, летние колонии, дешевые кухни, словом, все благотворительные учреждения, какие вы знавали уже в Европе, объединены у нас общим управлением. Благодаря такой организации есть возможность помочь каждому нуждающемуся, каждому больному. Правда, у нас к благотворительности не предъявляются такие тяжелые требования, как в европейских странах, потому что у нас экономическое положение народа гораздо нормальнее. Но и у нас есть нуждающиеся, потому что совершенно пересоздать людей мы, конечно, не могли. Слабости, беспечность, вольные и невольные проступки и у нас, конечно, не проходят безнаказанно. Мы больным помогаем медицинским уходом, а нуждающимся – доставлением работы. У нас каждый гражданин имеет право на работу, следовательно, и на хлеб, Но зато он сознает и исполняет свой долг труда. Нищенства у нас не допускается, и здоровый человек, протягивающий руку за подаянием подвергается, в виде наказания, самой тяжелой черной работе. Неимущий больной должен только сделать заявление в благотворительный комитет. В помощи никогда никому не отказывают. Все больницы соединены, разумеется, телефонами с главным госпиталем и, благодаря своевременным переговорам, предотвращается возможность отказа больному в приеме, за неимением свободных кроватей. У нас немыслимо, например, чтобы больной скитался из одной больницы в другую, как это бывало в прежнее время в Европе. Если больница переполнена, то во дворе имеется дежурная карета, которая отвозит больного в ближайшую больницу, где место его уже ждет.

– Но, ведь, это требует, вероятно, огромных затрат? – сказал Фридрих.

– Нет. Целесообразным распределением сумм государственного бюджета достигается большая экономия. Европейские страны уже в конце прошедшего и начале нынешнего столетия были достаточно богаты, но там не было системы, не было разумной организации. Европа была переполненной сокровищницей, в которой могло не оказаться, например, такой простой вещи, как суповая ложка, если бы в ней встретилась надобность. Люди не были ни глупее, ни хуже нас или, если хотите, мы нисколько не умнее и не лучше тех людей. Причина успеха нашего социального опыта совершенно другая. Мы создали наше государство, так сказать, помимо исторических, наследственных традиций. Правда, мы воспользовались плодами многовекового политического опыта, но все общественно‑политические учреждения мы значительно видоизменили и обновили. Народы с беспрерывной государственной жизнью должны нести бремя, которое взяли на себя их отцы. Мы от этой необходимости избавлены. Возьмите, например, государственный бюджет в какой‑нибудь знакомой вам европейской стране. Какую огромную статью составляют проценты и погашения давно просроченных долгов. Наше новое государство с самого начала очутилось в более благоприятных условиях. Я подробно ознакомлю вас с экономическим строем нашей страны. Теперь я отвечу только на ваш вопрос о расходах на благотворительные учреждения. Хотя эти учреждения оказывают безусловно всем больным и нуждающимся своевременную, целесообразную помощь, они обходятся нам все‑таки несравненно дешевле, чем в былое время Европе. Расходы на постройку зданий и обзаведение ассигнуются из общественных сумм, как это и прежде делалось в культурных странах, если, конечно, расходы не покрываются кружковыми сборами и частными пожертвованиями. Затем, служащий персонал, кроме заведующих учреждениями, у нас даровой. Все члены Новой Общины, мужские и женские, обязаны посвящать два года общественной службе. Но к исполнению своих обязанностей они допускаются только по окончании своего образования, в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. И надо вам знать, что для детей наших членов обучение обязательно и притом со включением университетского курса. Таким образом, благодаря этой двухлетней общественной служб, в нашем распоряжении огромная армия даровых интеллигентных работников, которые исполняют в благотворительных учреждениях самые разнообразные обязанности. Жалованье, как я вам уже говорил, получают очень немногие.

– Я понимаю – сказал Фридрих. – Ваша армия состоит из действительных офицеров и добровольцев.

– Допускаю это сравнение, – ответил Давид. – Но это не больше, как красивое сравнение. В нашей общине боевой армии нет.

– Ой, ой! – насмешливо протянул Кингскурт. Давид улыбнулся.

– Чего вы хотите, мистер Кингскурт! Совершенства нет на земле; нет его и в нашей общине. У нас нет государства, как у европейцев в ваше время. Мы составляем общину из граждан, которые путем труда, знаний стараются создать себе светлую радостную жизнь. У вас обращают большое внимание на физическое развитие подрастающего поколения. У нас много гимнастических стрелковых обществ, какие уже были много лет назад у швейцарцев. Культивируем и разные виды английского спорта: крокет, гонки, футбол. Все это мы переняли от Европы. Когда‑то еврейские дети были бледные, хилые, робкие. А теперь!.. И эта поразительная перемена объясняется чрезвычайно просто. Из подвалов, из лачуг, из зараженных нуждою помещений мы вытащили их на свет Божий. Растения гибнут без солнца, люди тоже. Растения можно спасти, пересадив их на родную почву, людей тоже. Евреи очутились на родной почве и они ожили. Фридрих Левенберг задумчиво сказал:

– Слушая вас и припоминая то, что вы нам показали и обещаете показать – приходится верить, что это не утопия, что это действительность. Я начинаю понимать и размеры, и характер вашей общины. Все это меня пока не поражает. Меня другое смущает. Я допускаю даже, что вы нас ничем невиданным не удивитё, потому что приблизительно в тех же чертах мы видели эти формы общественно‑политической жизни в Европе. Но я гляжу и слушаю – и не понимаю… не понимаю, как это могло случиться. Как бы мне выразиться ясней? Я понимаю настоящее положение, но каким путем вы добились его? Этот переход от того положения еврейства, которое а знал, к теперешнему – для меня совершенно непонятен. Если бы сегодня явился на свет, просто, без рассуждений, взглянул бы на весь этот порядок вещей, словом, отнесся бы к нему так, как в свое время относился к существовавшему тогда порядку вещей. Быть может, если бы я тогда вернулся в Европу после двадцатилетнего отсутствия, мне и там многое показалось бы странным, невероятным. Если бы мы, например, уехали в 1880 году и вернулись в 1900, нас, наверно, еще больше поразили бы такие завоевания в области науки, как электричество, телефон, фонограф и проч. Вы же ничего нового нам, кажется, показать не можете, и все таки… Я не верю своим ушам, своим глазам. Для меня этот переход – тайна, загадка.

– Об этом мы еще много будем говорить, – ответил Давид. – Я расскажу вам историю моей жизни, в которой вы сыграли такую значительную роль. Только не здесь, не теперь. Вы устали с дороги. Отдохните первым делом. Вечером, если вам угодно будет, мы пойдем в какой‑нибудь театр, в оперу или в немецкий, английский, французский, итальянский, испанский театр!

– Черт побери! – воскликнул Кингскурт, – и все это имеется здесь! Как в Америке, в мое время! Там тоже гастролировали артисты изо всех стран света. Но найти такое обилие развлечений здесь…

– Нисколько не удивительно. Из Европы сюда гораздо ближе, чем в Америку. Многие, наконец, потому уже ездят в Палестину, что не переносят морской болезни. Сеть мало‑азиатских дорог, начатая еще в прошлом столетии, давно уже проведена. Теперь идут поезда в Дамаск, Иерусалим, Багдад. С тех пор, как закончен железнодорожный мост через Босфор, можно ехать в Иерусалим без пересадки из Петербурга, Одессы, Берлина, Вены, Амстердама, Кале, Парижа, Мадрида, Лиссабона. Все европейские экспрессы примыкают к иерусалимским, а палестинские ветви соединяются с египетскими и североафриканскими. Северо‑южноафриканская линия, которой очень интересовался германский император еще в девятидесятых годах, и сибирская дорога к границам Китая дополняют эту железнодорожную сеть Европы. Мы находимся на отличном пункте этой сети.

– Штука, черт возьми!

– Дороги вы уже видели. В этом тоже ничего удивительного нет. Русско‑китайская дорога была уже двадцать лет тому назад готова, багдадская строилась, Нильско‑Капская проектировалась. Было бы чему удивляться, если б Палестина, при своем положении в центре скрещивающихся дорог между Европой, Азией и Африкой, еще дольше оставалась бы в тени.

– Нет, дорогой хозяин, я не этому удивляюсь. Меня удивляет то, что… я не решаюсь даже сказать… то… что вы, евреи, сделали это. Вы не обижаетесь на меня?

Фридрих заметил:

– Откровенно говоря, я тоже постичь этого не могу. От нас, евреев, я ничего подобного не ждал.

Давид спокойно ответил:

– Только евреи могли это сделать. Только мы. Только мы в силах были создать это государство и этот центр международного общения. Наша трагическая судьба, наши нравственные страдания были так же необходимы для этого, как наш экономический опыт и наш космополитизм. Но довольно на этот раз. Отдохните, развлекитесь. Завтра по пути в Тибериаду мы вернемся к нашему разговору.

IV

С момента приезда в Хайфу, о дальнейшем путешествии в Европу не было еще речи.

Фридрих Левенберг, правда, из деликатности предложил своему другу продолжать путь, полагая, что его вряд ли может искренне интересовать судьба еврейского народа. Но старик решительно заявил, что останется до тех пор, пока не заметит, что им тяготятся. С еврейством произошла удивительная метаморфоза. И это д‑р Левенберг может равнодушно относиться к своему народу, а у него, Кингскурта –сердце не каменное…

Словом, когда с яхты пришел штурман, Кингскурт заявил ему, что он остается в Хайфе, велел ему доставить вещи в Фридрихсгейм и экипажу дать полную свободу.

Комнаты, отведенные гостям в Фридрихсгейм, были смежные. Кингскурт стоял в нижней рубах на пороге общей двери и, широко жестикулируя, резюмировал все виденное и слышанное до сих пор. Фридрих сидел в удобном глубоком кресле и мечтательно смотрел в открытую балконную дверь на море. Более красивую местность он представить себе не мог. И какие чудные люди обитали в этом изящном уютном доме! Давид, уравновешенный и энергичный, уверенный в своих силах и скромный в то же время. И рядом с ним его жена – прелестное воплощение молодого счастливого материнства. А эта милая, благородная девушка, с таким трогательным увлечением отдающая свое время серьезному трудному делу. Когда‑то у молодых девушек из богатых еврейских семейств были совершенно другие интересы. После долгих лет, он вспомнил об Эрнестине Леффлер, которую так безумно любил и благодаря которой так легко расстался с жизнью. Могла ль бы Мариам согласиться на такое замужество, как Эрнестина? И он невольно улыбнулся неожиданности этой мысли. Конечно, нет, это была другая девушка и весь их круг резко отличался от несимпатичного круга Леффлеров. Кто знает, не лучше ли было бы тогда, честнее, достойнее – работать и бороться, чем трусливо бежать от жизни?

– Кингскурт! – закончил он вслух свои размышления. – Кажется, наша яхта взяла неверный курс, когда мы уезжали искать этот блаженный остров. Как я провел двадцать лучших лет жизни?… Охотился, удил рыбу, ел, пил, спал, играл в шахматы…

– Со старым ослом, а?… – обиженным тоном буркнул Кингскурт.

– Я за ваши слова не отвечаю, – смеясь, ответил Фридрих. – Без вас я не мог бы и не хотел бы жить. Но жаль, жаль, что годы прошли так бесплодно. Жизнь шла вперед, совершалось великое мировое событие, а я в нем никакого участия не принимал, своей лепты труда не внес…

– Вот так раз! Человек пробыл двадцать лет в моей школе и еще носится с такими бреднями! Да скажите прямо, чего вы желаете вступить в Новую Общину.

– Я этого не говорю, потому что мало еще знаю ее.. Во всяком случае, в ней, кажется, менее непривлекательных сторон, чем в том обществе, от которого мы бежали.

– Конечно! Конечно! Сделайте одолжение, примыкайте к этому обществу! – Горячился Кингскурт. – Я и без вас могу уехать, и сделаю это преспокойнейшим образом уеду…

– Не волнуйтесь только, Кингскурт! Я не останусь здесь дольше вас…

– И вы говорите это…

– Вполне серьезно… И будьте спокойны, я не вступлю в эту общину. Разве в том случае…

– Если бы?..

– Если бы, – протянул Фридрих, улыбаясь своей мысли, – если бы вы тоже вступили.

Левенберг давно уже не слышал такого хохота.

– Фритц, ха, ха, ха, что… что вы сказали? О‑го, о‑о, ха, ха, ха… – заливался Кингскурт, корчась от смеха. – Я член еврейской общины! Я, Адальберг фон Кенигсгоф, христианин, прусский офицер, потомок старинного дворянского рода! Ну, Фритц, это… это великолепно, ха, ха, ха!

– Прусский юнкер заговорил в вас?…

– А вы сейчас же и в обиду? На мой взгляд, вы исключение… Но исключения, ведь обобщать нельзя!…

‑А в чем вы можете упрекнуть Давида Литвака?

– Ни в чем! Кажется, очень толковый малый…

Разговор прерван был стуком в дверь. Хозяин дома пришел осведомиться, как они решили провести вечер; желают ли они отправиться в театр или в концерт, и указал им на последней странице газеты длинный список зрелищ.

Кингскурт, не глядя на газету, спросил:

– А этой лжи еще много на свете?

– Столько, сколько читатели требуют…

– Значит, очень много! – презрительно сказал Кингскурт.

– Да как вам сказать? Артельные газеты в общем, правдивы и вполне приличны.

– Какие газеты?!

– Артельные. При нашем мутуалистическом экономическом строе и ежедневные газеты, разумеется, должны были получить такой же характер.

Кингскурт прервал его:

– Погодите, погодите! Не так скоро. Какой у вас экономический строй?

– Мутуалистический. Не представляйте себе только, пожалуйста, каких‑нибудь строгих правил, драконовых законов, постановлений, вообще ничего тяжелого, сухого, доктринерского… Это самый безобидный и отлично привившийся способ ведения государственного хозяйства. И это уже было в ваше время, как и многое другое, что вы видите у нас. Были разные промышленные и земледельческие артели. Все это имеется теперь и у нас. Вся заслуга нашей Новой Общины лишь в том, что она содействовала образованию и успеху артелей кредитом и, что еще важнее, руководительством масс. В науке прошедшего столетия значение артелей было и выяснено и оценено. В практической же жизни артели редко налаживались, потому что члены артели не имели материальной возможности дождаться успеха, который раньше или позже, но должен был придти. Кроме того, им приходилось вести борьбу с тайными и открытыми противниками, интересы которых страдали от успешного развития артелей. Торговцы съестными припасами опасались конкуренции потребительных обществ ; мебельные фабриканты видели своих врагов в столярных артелях. И общественная косность, и стачки, и всякие экономические кризисы тормозили развитие артелей. А между тем, ведь это средняя форма между индивидуализмом и коллективизмом. Отдельная личность не лишается привилегий частной собственности, и в то же время имеет возможность в союзе с товарищами бороться с подавляющей силой капитала. У нас бедные люди не могут роптать, что, производя, они зарабатывают меньше капиталистов и, истребляя, платят дороже их. У нас барыш на съестных продуктах немыслим. У нас хлеб так же дешев для бедных, как и для богачей. В прежнем обществе тысячи торговцев разорились бы при таком условии. Мы же сразу учредили потребительные общества, и торговцев старого типа у нас вовсе нет. Вот опять преимущество отсутствия традиций, прошлого в нашей стране. Для того, чтобы помочь бедным, у нас никакой надобности не было кого бы то ни было разорять, нарушать чьи либо интересы.

– Но газета? – спросил Фридрих. – Мы говорили о газетах. Каким образом могли создаться артельная газеты! Они принадлежат нескольким издателям, редакторам, что ли?

– Очень просто. Артельная газета принадлежит подписчикам. Подписная плата – это взнос членов, которые на самую газету никаких притязаний не предъявляют. Чем шире круг читателей, тем значительнее доходы от объявлений. И эти доходы принадлежат читателям или, по крайней мере, подписчикам, и в конце года членам артели рассылаются отчеты. Так что, при полном успехе дела, подписчики целиком получают обратно свои взносы. Но бывали случаи, когда они и больше получали.

– Черт побери! Прямо, невероятно! – воскликнул Кингскурт. – За усердное чтение газеты выдается, значит, премия.

– Да разве вы никогда не слыхали, какие доходы приносили газеты в Европе и в Америке? Газеты даже дешевели, хотя расходы на телеграммы, корреспонденции и гонорары достигали баснословных цифр, а издатели богатели, разумеется, на счет подписчиков. У нас же львиная доля издателя распределяется между членами газетной артели. Редакция – это заведующий делом выборный комитет, и, уверяю вас, она и шире понимает свою задачу, и серьезнее относится к своим обязанностям, чем журналисты в старой Европе. Она собственно и зарабатывает деньги для подписчиков, и в этом каждый легко может убедиться. Читатели выражают редакции. свою признательность за прекрасные симпатичные статьи, которые поджимают умственный и нравственный уровень народной массы. Наши газеты неустанно дополняют народное образование, они поучают, но и развлекают в то же время; они служат практическим потребностям взаимного общения, торговли и промышленности не менее усердно, чем искусству и наукам. И какой нравственный подъем испытывают журналисты, работающие в сознании своего общественного значения и полезности. И как добросовестно, серьезно подходить они к задаче, возлагающей на них такую ответственность.

– Значит, это все обольстительно. – Вставил Фридрих. – Но мне кажется, что такие артельные газеты должны быть рабски подчинены настроению толпы. Редакция, существование которой зависит исключительно от подписчиков, наверно, и заискивает, и угодничает перед публикой, и потворствует ее вкусам.

– Если бы так и было, – ответил Давид, – то разве это было бы ново? В прежнее время сплошь и рядом встречались такие явления. Редакторы напряженно следили за настроениями публики, замалчивали одно и преувеличивали другое, полагая, что ублажают этим своих читателей. И при этом, они не всегда еще были уверены, что действуют вполне успешно. Совершенно иное дело теперь. В ежегодных собраниях читаются отчеты деятельности редакции, но сообщаются также сведения и о публике, которою эта газета читается.

– Но это ужасно! – воскликнул Кингскурт. – Собрание ста тысяч подписчиков!

– Как можно! Подписчики выбирают сто, двести доверенных лиц, которые и являются в собрание. Это очень просто делается. В самой газете выставляются кандидатуры на эту кратковременную должность. Подписной билет служит избирательным листком. Человек пятьсот или тысяча передают свои избирательные листки доверенному лицу на общее собрание. И такие лица обыкновенно даже печатают в газете: «Я намерен отстаивать на общем собрании такое‑то положение. Кто согласен со мной, пусть пришлет мне свой листок «

– Хорошо. – сказал Фридрих, – публике дается подробный отчет в деятельности редакции. Но я в этом не вижу большой выгоды для народа. Новые мысли и веяния не скоро получают веерную оценку в широкой публике. Детей можно учить, лишь когда они хотят учиться, и читающую публику можно поучать лишь в том случае, если она желает облагородить и расширить свои взгляды. Ваша же артельная газета как выразительница известных мнений, может скорее привести, я думаю, к реакции или к революции. Люди, вероятно, с трудом понимают значение нового и разучиваются ценить старое. Вы лишены поддержки духовного воздействия на толпу, которого можно ждать лишь от исключительных по таланту отдельных личностей.

– Вы не дали мне докончить, доктор. Я не говорил, что артельная газета – единственная форма периодической печати. Такие газеты заменяют только те литературные предприятия, которые по размерам издания, расходам на печатание и корреспонденции, носили характер крупных промышленных предприятий. Но у нас есть и газеты, которые издаются и ведутся отдельными лицами. У меня самого есть такая газета. Она необходима в борьбе; за то, что я хочу ввести в нашу Новую Общину. И мой главный противник, раввин, д‑р Гейер, тоже имеет свою газету. Лишь только вопрос этот решится, я прекращу свое издание. Гейер же, вероятно, свое будет продолжать, так как он живет этими общественными распрями. И есть еще много разных газет, составляющих собственность отдельных лиц, которые служат различным целям. Каждое новое направление, новая творческая. личность немедленно заявляют о себе в печати. Разумеется, выдающимся людям, как и в прежнее время, приходится выдерживать тяжелую борьбу, в которой, впрочем, закаляется только сила их убеждения, отвага и стойкость. Поверьте мне, благодаря нашему мутуализму, мы не беднее, а богаче стали крупными индивидуальностями. Отдельные личности не кромсаются у нас жерновами капитализма и не обезличиваются социализмом. Мы понимаем и ценим отдельную личность, точно так же, как уважаем его экономическое положение, его частную собственность, и всячески ее защищаем.

– Ну слава Богу! – сказал Кингскурт. – Я думал, что вы уничтожили уже границы между моим и твоим.

– Тогда не было бы всего того, что вы уже видели и увидите еще, – ответил Давид. – Нет, мы не более неблагоразумны. Мы не уничтожили стимула к работе, усилиям, открытиям и изобретениям. И дарования, и труд должны получать соответствующее вознаграждение. Нам нужно богатство, как приманка отчасти и как необходимая обстановка для развития чистого искусства. Я сам человек с порядочными средствами. Я судопромышленник. Такие предприятия, как мое, до сих пор удавались только частным предпринимателям или акционерным обществам, Главное преимущество мутуализма в том и состоит, что он не исключает существования и новообразования других экономических форм. В моей фирме, например, вы найдете весьма интересное смешанное устройство. Я собственник фирмы. Мои рабочие сплотились в артель, которая при моей же поддержке завоевывает все более и более независимое положение. В начале моего предприятия и их артели у них было только потребительное общество, вслед затем они учредили сберегательную кассу. Надо вам знать что наши рабочие в качестве членов Новой Общины и без того застрахованы от несчастных случаев, болезни, старости и смерти. Но это нисколько не мешает им участвовать и в сберегательных кассах. Я, с своей стороны, уделяю их кассе известный процент с общей прибыли. И делаю я это не из великодушия, а исключительно из эгоизма, потому что, помимо преданности рабочих, я обеспечиваю себе выгодную продажу предприятия, на тот случай, когда я захочу удалиться от дел. Тогда я превращу свое предприятие в акционерное общество, при чем предоставлю уже моим рабочим преимущественное право приобретения моей собственности, с небольшим, разумеется, барышом для меня. Поэтому мои рабочие и лучшие мои друзья. Между нами никаких недоразумений не бывает. Это, если хотите, вполне патриархальные отношения, но вылившиеся в новейшие экономические формы. Если бы среди моих рабочих явился подстрекатель, мне совершенно нечего было бы беспокоиться: они просто высмеяли бы его. Они чувствуют под собою твердую почву, и всякие посторонние воздействия на них будут безуспешны.

Кингскурт добродушно проговорил:

– Однако, вы молодой, да ранний!…

– Я рано начал жить. Мы были первыми эмигрантами. Меня сильно увлекло движение, поднявшееся в то время среди еврейства. Но об этом я расскажу вам обстоятельно в Тибериаде.

– Почему же в Тибериаде? – спросил Фридрих.

– Вы там уже поймете – почему, – вероятно вы и не догадываетесь, какой праздник у нас теперь… Ну, а теперь решите, наконец, куда поехать сегодня вечером – или, быть может, вам угодно узнать репертуар. театров из устной газеты? – Он снял со стены две трубки и протянул их гостям.

Кингскурт рассмеялся:

– Нет, ваша милость, этим вы нас не удивите Эту штуку мы знаем. Такая телефонная газета еще пятьдесят пять лет тому назад существовала в Будапеште.

– Да я ничего нового и не хотел вам показать. Впрочем, и эта устная газета – тоже артельная.

– Но она, вероятно, никакого дохода не дает, раз в ней нет объявлений?

– Напротив. Такие извещения оплачиваются очень дорого. Объявления в печатной газете читатель может и не заметить, не обратить на них внимания. Тогда как против рекламы, исходящей из телефона, он совершенно безоружен. Послушайте, быть может, какая‑нибудь газета как раз говорит теперь!

Они поднесли трубки к ушам. Сперва, они услышали известие о пожаре на верфи в Иокогаме, потом краткое сообщение о первом представлении в Париже, затем о последних колебаниях цен на шерсть в Нью‑Йорке и, наконец, громче и отчетливее раздалось:

– У Самуэля Кона можно прибресть благороднейшие благородные камни, настоящие и фальшивые, за дешевые цены и с полным ручательством. У Самуэля Кона. Большая галерея, 47.

Все трое рассмеялись.

– Это проделывается часто очень остроумно, – сказал Давид, – так что слушатель и не догадывается, что все эти известия закончатся рекламой. Доход такая газета. приносит колоссальный. Вначале подписчики платили шекель в месяц, но получали гораздо больше. У такой газеты нет расходов ни на бумагу, ни на печать, ни на рассылку номеров подписчикам. Но город Хайфа и Новая община обложили эти предприятия налогом. Кроме того, он состоят под особым надзором. На центральной телефонной станции дежурят чиновники Новой общины, которые следят за тем, чтобы не совершались какие либо бесчинства, чтоб в аппарат не говорилось неприличных слов, не сообщалось ложных или тревожных известий.

– Обложили налогом? – удивился Фридрих. – Но как же ваша Новая община, об устройстве которой вы ничего еще нам не рассказали, может облагать налогом частные предприятия!

– Это совершенно исключительный случай. Телефонная газета должна, ведь, где‑нибудь проложить свой кабель. У нас имеются под улицами пространства, в которых проведены и проводятся новые всевозможные проволочные линии, газовые трубы, водопроводные и сточные. Под мостовой тянется туннель, из которого к каждому дому подходят линии и трубы, проникающие в дома через подземный ход. Для того, чтобы ввести туда новые, нет надобности разрывать мостовую. Большие города, которые вы знали, создавались случайно, без предварительного плана. Освещение, водоснабжение, стоки, электрические провода неизбежно вели за собой ломку мостовых и при этом никогда не было точно известно, в каком состоянии находятся отдельные подземные ветви; обыкновенно об этом узнавали после несчастных случаев, взрывов. Мы же строили наши города, имея в своем распоряжении опыт и технические средства старой культуры, и прокладывали все улицы с обширным туннелем по средине. Это обошлось не дешево, но расходы возвращаются с лихвой. Если вы сравните бюджет Хайфы с бюджетом Парижа или Вены, вы убедитесь, какие сбережения мы делаем, благодаря этим подземным каналам. Там же проведены вместе с другими линии телефонной газеты, и за это взимается абонентная плата, пропорциональная доходу газеты. И, разумеется, налог этот опять‑таки идет в общую пользу.

Кингскурт сказал:

– Вот, наконец, первая вещь, которая мне импонирует здесь: а именно, что вы умудрились вымостить улицы благороднейшими камнями Самуэля Кона. Вы чертовски хитрый народ. Мне это никогда не пришло бы в голову.

– От такой похвалы не поздоровится, м‑р Кингскурт! – ответил Давид, смеясь. – Но, быть может, вы будете иначе судить о нас, когда поживете у нас некоторое время!

– Хорошо! Вообще, я, надо вам знать, принципиально готов сознаться, что я, старый осел, но мне нужны доказательства!… Ну‑с, а теперь ведите нас, во имя Вельзевула, в театр.

– В какой хотите, дорогой Литвак? – добавил Фридрих.

– Так как вы ни на чем остановиться не можете, то, я думаю, лучше всего предоставить дамам решить этот вопрос.

Кингскурт и Левенберг охотно приняли его предложение. V

Дамы уже были одеты и ждали их. Сара, жена Давида, сказала:

– Я думаю, нашим гостям неинтересно будет смотреть у нас вещь, которую они могут видеть и в любой европейской столице. У нас гастролируют теперь превосходные труппы – французская и итальянская. Но для вас занимательнее будет еврейская пьеса.

– Разве есть еврейские пьесы? – удивленно осведомился Фридрих.

Кингскурт шутливо заметил:

– Разве вы не слыхали и не читали в свое время, что театр совершенно ожидовел?

Сара взглянула на газету.

– Сегодня в национальном театре идет библейская драма – «Моисей», – сказала она.

– Это прекрасная пьеса! – добавил Давид. – Но слишком уж серьезная для вечернего времяпровождения. В опере сегодня идет «Сабатай Цви». В народных театрах идут комедии и фарсы на еврейском жаргоне. Я предлагаю отправиться в оперу. – За оперу высказалась и Мириам. «Сабатай Цви» считался в Палестине наилучшим музыкальным произведением за последние годы… Но надо поторопиться, потому что до оперного театра не менее получаса езды.

– Найдем ли мы еще места? – спросил Кингскурт.

– В кассе билетов, наверно, уже нет теперь, – ответил Давид, – потому что большинство членов артели воспользуется сегодня своими местами. Но у нас с самого основания театра своя ложа.

– И опера – артель? – удивился Левенберг.

– Абонемент, Фритц! Они это называют здесь артелью. Вероятно, на таких же началах, как и газета

– Совершенно на таких же началах со смехом ответил Давид. И удивляться вам решительно нечему – у нас ничего нового нет, м‑р Кингскурт!

Он взял с камина пару белых перчаток и стал их надевать.

– Перчатки! Да еще белые!

Ни у Кингскурта, ни у Фридриха никаких перчаток не было. На пустынном острове в Тихом океане за двадцать лет ни разу не представилась надобность в белых перчатках. Но раз судьба возложила на них тяжелую обязанность сопровождать двух дам в театр, надо же с честью выдержать испытание. Кингскурт спросил, проедут ли они по дороге мимо перчаточного магазина? Нет. Таких. магазинов у них даже не имеется. Старик начал злиться:

– Вы смеетесь надо мною? Вы же напялили на себя перчатки! Вы сами их делаете, что ли? Или вы участвуете и в артели перчаточников?

Недоразумение разъяснилось среди общего смеха. Специальных перчаточных магазинов не было, потому что перчатки, как и другие туалетные принадлежности, можно было приобрести в больших торговых домах.

Перед подъездом виллы стояли два автомобиля. В первый сели Сара, Мириам и Фридрих, во второй – Кингскурт и Давид. Стоял мягкий южный вечер, напоминавший волшебные ночи Ривьеры. Вдали светилось море. В гавани и на рейде до самой Акки фонари многочисленных судов отражались в воде и дрожали, играли в волнах, словно горящие мотыльки.

Когда они проезжали мимо дома Решид‑Бея, они услышали пение. За неосвещенными окнами пел великолепный женский голос.

– Это поет жена Решид‑Бея, – сказала Мириам. – Она приятельница наша, очень милая, прекрасно образованная женщина. Мы часто видаемся с ними, но только. в ее доме. Магометанские обычаи, которые Решид‑Бей строго соблюдает, запрещают женщинам посещать своих знакомых.

– Но вы не думайте, что Фатьма тяготится своим затворничеством, – добавила Сара. – Это вполне счастливый брак. У них прелестные дети. Но Фатьма ведет строго‑замкнутую жизнь. Это то же счастье в своем роде. Я вполне понимаю такое счастье, хотя я полноправный член Новой общины. И я ничего не имела бы против такого образа жизни если бы только муж мой пожелал этого.

– Да, я понимаю, – задумчиво заметил Фридрих. – В этой Новой общине вашей каждый может жить так, как ему нравится и может быть счастливым…

– Да, доктор! – ответила Сара. – Каждый и каждая.

Они въехали в ярко освещенные улицы города. Перед огромным зданием, из широких зеркальных окон которого лились потоки света, автомобили остановились.

Неужели это опера? Конечно, нет. Это был большой многоэтажный дом, сверху до низу представлявший собою один магазин.

– Да, ведь, это – Bon‑Marche! – воскликнул Кингскурт.

Давид улыбнулся:

– Нечто в этом роде. У нас имеются только такие торговые дома – небольших магазинов у нас вовсе нет.

– Как? А несчастных мелких торговцев – вы взяли да погубили?

– Нисколько, м‑р Кингскурт! Мы их не губили, потому что их не было у нас, мы не допустили их появления.

Фридрих, остановившийся с дамами перед выставленными модными новинками, при последних словах Литвака, вмешался в разговор.

– Как? Вы запретили мелкую торговлю? Так вот она ваша хваленая свобода!

– У нас каждый гражданин пользуется свободой и правом делать то, что ему угодно. У нас караются только те преступления и нарушения законов, которые карались и в культурных европейских странах. Никаких новых запретов мы не выдумали. И мелкую торговлю мы считаем делом не преступным, а невыгодным, неблагоразумным. Это была одна из проблем, которые должна была решить наша община. Это было крайне важно, и именно вначале, когда сюда нахлынула масса евреев, занимавшихся в Европе мелкой торговлей. И мой отец – вы помните, доктор, – зарабатывал свой скудный черствый хлеб в качестве разносчика, а это самый жалкий вид мелкой торговли. Он ходил с своим лотком из кабака в кабак.

– Послушайте, Литвак! Да вы, по‑видимому, нисколько этого не стыдитесь? – проговорил Кингскурт.

– Что вы? Нисколько не стыжусь этого. Он бился, как рыба об лед, мучился ради меня же. Я был бы последним человеком, если бы стыдился своего отца.

– Дайте мне пожать вашу руку! – и Кингскурт энергично потряс руку Литвака,

Когда они входили в перчаточное отделение, Фридрих спросил:

– Каким же образом вы разрешили вопрос о мелкой торговле, если не законом и запретом?

– Очень просто! Путем устройства больших магазинов. Эти огромные базары и склады с филиальными отделениями во многих местах должны были появиться в эпоху паровых машин и железных дорог. И своим появлением они были обязаны не случаю, не гениальному проекту даровитого дельца, в развитии их лежала крайняя необходимость. Массовое производство требовало такого же сбыта. Разумеется, мелкие торговцы должны были сойти со сцены, как ямщики с появлением железных дорог. Только последние обыкновенно скорее предугадывали свою судьбу, чем недальновидные лавочники с их мнимым лукавством. Да эти, впрочем, были и беспомощнее, так как они в дело вкладывали все свое состояние, которое надо было считать погибшим уже в тот момент, когда только повеяло надвигавшейся грозою. Мелкие лавочники погибли не по своей вине. Новые формы экономической жизни победили их, не объявив им даже войны. У нас же – и в этом главная причина нашего успеха – даже не дошло до образования пережитых экономических форм. Мы с самого основания нашего государства ввели у себя новый порядок вещей. И, конечно, не нашлось ни одного глупца, который решился бы устроить себе маленькую лавчонку бок о бок с большим торговым домом, или завести лоток с товаром и ходить с ним по дамам, так как он понимал, что разные фирмы своими прейскурантами, объявлениями и рассылками образчиков несомненно, его предупредят. Мелкая торговля не сулила никакой выгоды и наши евреи, очутившись в новых условиях, вовсе не брались за нее. В старой Европе, которой приходилось отстаивать законы, изданные в разные времена – это был тяжелый вопрос. Низший слой купеческого сословия, благодаря появлению больших магазинов, очутился в безвыходном положении. И что можно было против этого предпринять? Запретить большие магазины?… Но как определить размеры торговли, при которых запрещение могло быть применено? Ввести новые налоги? Но от этого казна выиграла бы немного, а мелким торговцам от этого ни тепло, ни холодно не было бы. Публике же нужны были такие магазины в которых, не теряя много времени, можно приобрести всевозможные предметы по общедоступной цене. Фабрикант большим фирмам делает несравненно большую уступку, чем мелким торговцам. Словом, производство и потребление требовали современных магазинов. У нас они никому ущерба, разумеется, не принесли. С ними связана была для нас социально‑политическая задача: мы таким путем могли уберечь многих наших сограждан от старых не экономных и вредных форм торговли.

Дамы стали выражать нетерпение в делали Давиду выразительные знаки, но Кингскурт не унимался и предлагал вопрос за вопросом, на которые Литвак предупредительно отвечал:

– Нет, вы мне толком все это объясните – говорил старик, протягивая свои огромные красивые руки продавщице, которая с геройским усилием натягивала на его пальцы тонкую белую кожу.

– Теперь я вижу у вас широкую крупную торговлю. Но, ведь, не сразу же это сделалось? Не по мановению же волшебного жезла появились в пустынной стране эти великолепные пассажи, магазины и не с неба же туда устремились тысячи локупателей?

– Конечно, нет, мистер Кингскурт. Это создалось постепенно, в течение нескольких лет. Когда переселение евреев в Палестину приняло грандиозные размеры, с каждым днем сильно выростала потребность в товарах. Мы ничего еще не производили, а потребности были бесчисленные. Положение вещей было известно всему миру, потому что переселение евреев было в то время событием, интересовавшим весь культурный мир. Собственники многих европейских торговых домов поспешили открыть отделения в наиболее значительных центрах Палестины. Не одни только евреи воспользовались возможностью сбыть свои запасы. С сказочной быстротой создались немецкие, английские, французские и американские магазины. Вначале это были только железные бараки. Когда потребности стали увеличиваться и утончаться, когда первые бедные пришельцы, удовлетворявшиеся тем, что им давали, стали заявлять о своих вкусах и желаньях – тогда постепенно бараки преобразовались в каменные торговые дома. Новая община ни в чем не стесняла их роста и развития. Напротив, она поощряла их, так как видела в них двойную пользу: во‑первых, они быстро и по доступным ценам доставляли необходимые товары в страну, во‑вторых, благодаря им, наш народ сознал безполезность и невыгоду мелкой торговли.

– Так что, помимо крупных фирм, у вас нет вовсе торговцев? – спросил Фридрих.

– Как нет? – ответил Давид. – У нас никаких запретительных законов нет. Каждый волен заниматься тем делом, которое ему нравится. Самыми драгоценными и самыми дешевыми вещами, например, торгуют отдельные лица.

Но этим занимаются не одни только евреи. Наибольший контингент этих торговцев составляют греки, левантинцы, армяне, персы. Меньше всего среди этих торговцев евреев, состоящих членами нашей общины.

– Как? Разве есть евреи, которые не состоят членами вашей общины?

– Конечно… Однако, как мы заговорились. Мы опоздаем. Пойдемте! Что стоят эти две пары перчаток? – спросил Давид у продавщицы.

– Шесть шекелей.

Кингскурт оделалал большие глаза.

– Черт возьми! Это еще что такое?

Давид, смеясь, ответил:

– Это наш денежный знак. Мы восстановили древнееврейскую монету. Шекель то же, что французский франк. Так как при вас местных денег нет, позвольте мне заплатить за вас.

Он дал кассирше золотую монету, получил сдачу серебром и затем дамы и за ними мужчины направились к выходу.

Кингскурт взял Давида под руку и лукаво подмигивая, сказал ему:

– А деньги вы все‑таки не уничтожили! На это у вас мужества не хватило.

– Нет, мистер Кингскурт! – в тон ответил ему Давид. – С деньгами мы расстаться нё могли. Во‑первых, потому что мы чертовски жадный народ. Во‑вторых, потому что деньги – отличная вещь. Если бы их не было уже, пришлось бы их изобрести.

– Милый мой, позвольте вас отблагодарить. Я всегда это говорил: деньги прекрасная, превосходная вещь. Но люди испортили ее.

VI

Увертюра уже приближалась к концу, когда они вошли в ложу. Появление их привлекло внимание партера, и дамы поспешно заняли места. Фридрих и Кингскурт были поражены великолепием оперного здания; правда, постройка, как сообщил им Давид, продолжалась пять лет и субсидировалась Новой общиной.

В соседней ложе сидели две дамы в ярких туалетах, увешанные бриллиантами и драгоценными камнями, одна пожилая и одна молодая, и между ними седой господин. Всй трое с заискивающей любезностью поклонились Литвакам, но эти едва ответили им. Пожилая дама и седой господин показались Фридриху знакомыми. Он как будто видел их где‑то, но давно, очень давно.

– Кто это? – тихо спросил он Давида.

Тот пожал плечами:

– Некий Лашнер с женой и дочерью.

– Лашнер! Богатый венский биржевик! – Фридрих вдруг с поразительной ясностью вспомнил последний вечер в доме Леффлеров. Это было и тяжелое и забавное воспоминание.

– Ну, этих я, признаться, не ожидал встретить здесь.

– Да они и приехали сюда, когда у нас уже выстроены были театры, – ответил Давид. – Теперь и у нас можно найти все возможные удобства, развлечения, как в богатых европейских городах. Но какой‑нибудь Лашнер и здесь встретит такое же презреню, какое он встречал в Европе. Мы не уничтожили, дорогой Кингскурт, значения денег, но у нас деньги не определяют значения их обладателей – члены Новой общины в материальном отношении настолько независимы, что у нас немыслимо прежнее раболепное отношение к богатым людям. Лашнер может тратить, швырять деньгами направо и налево, – почета он себе этим не приобретет. Вот, если бы он был порядочным человеком, тогда мы, конечно, иначе относились к нему. А этот господин даже не изъявил желания вступить в Новую общину. Не хотел брать на себя обязательств. Ну вот он и живет здесь, как чужой. Он пользуется, конечно, полной свободой и правами, как и всямй иностранец, но на чье либо уважение ему рассчитывать здесь нечего. Могу вас уверить!..

– Я думаю! – проговорил Кингскурт бросив презрительный взгляд в соседнюю ложу.

Занавес взвился. На сцене, изображавшей площадь в Смирне, волновалась толпа, и новоявленный пророк убеждал в чем‑то речитативом окружавших его последователей. Кингскурт спросил у своей соседки, Мириам, объяснений насчет героев оперы.

И девушка шопотом ответила:

– Этот Саббатай Цви был лже‑пророк, появившийся в Турции в начале семнадцатого столетия. Он увлек своим учением восточных евреев, но позднее сам отпал от еврейства и позорно окончил свою жизнь.

– Словом, – добавил Кингскурт, – был отъявленный негодяй. Самый подходящий для оперы сюжет!

Сцена изображала площадь перед смирнской синогогой. Партия возмущенных против Саббатая раввинов хором пела что‑то свирепое, после чего лже‑пророк со своими приверженцами сочли нужным ретироваться. Молодая девушка, увлеченная Саббатаем, отважилась выступить против возбужденной толпы с предлинной арией. Тогда ярость толпы обратилась против защитницы, и без вмешательства вернувшегося кстати лже‑пророка ей, вероятно, пришлось бы очень плохо. Обаяние силы, таившейся в личности Саббатая, действовало и на врагов его. Самые ожесточенные противники робко отступали назад, когда он выводил свои фиоритуры. Девушка бросилась к его ногам. Он нежно поднял ее и, назло всем врагам, великолепно пропел с нею дуэт. А затем последовал эффектный финал: раввины предали Саббатая анафеме, и пророк заявил, что после такого аффронта и он и его друзья покинут Смирну. Молодая девушка стала его умолять взять ее с собой, она желает быть там, где он, и разделять с ним невзгоды жизни. И на этом занавес опустился.

В антракт в ложе Литвака болтали о героях оперы, расцвеченных авторской фантазией.

– А этот плут чего‑нибудь добьется, – сказал Кингскурт. – Многообещающий господин!

Сара заметила:

– В начале своей деятельности это был, кажется, искренний мечтатель. Его испортил успех.

– Но удивительно то, – сказал Фридрих, – что такие авантюристы могли возбуждать доверие.

Давид ответил:

– Мне кажется, в этом – глубокий смысл. Народ верил не тому, что они говорили; они говорили то, чему верил народ. Они являлись навстречу тоскливой мечте. Или, вернее, их порождала тоска. Да. Тоска создает пророков. Представьте себе, что это было за темное, жалкое время, когда такие Саббатаи могли увлекать толпу. Наш народ не жил еще тогда сознательной жизнью, и такие личности поражали его воображение. Позднее, уже в конце девятнадцатого столетия, когда все остальные народы достигли облагораживающего самосознания, и наш народ пришел, наконец, к сознанию, что спасения он может ждать не от чудотворцев, а от собственных духовных сил. Не один какой‑нибудь человек, но пробужденная сильная народная индивидуальность должна подготовить великое дело освобождения. И фанатичные евреи приняли, наконец, что в таких взглядах нет ничего противного религии. Gesta Dei per Francos – говорили когда‑то французы. Деяния Господа да совершатся чрез евреев! – говорят истинно благочестивые евреи, которых пристрастные раввины не сбили еще с толку. Зачем людям знать, какими орудиями угодно пользоваться Господу для своих неисповедимых целей? Так разсуждали благочестивые евреи, когда решили посвятить себя национальному делу. И таким образом вновь воспрянул еврейский народ.

– Браво – проговорил Кингскурт. В то же мгновенье кто‑то постучался в ложу. На отклик Давида, дверь осторожно приоткрылась и в ложу как‑то бочком вошел господин во фраке, с седой бородой я заискивающей улыбкой на лице. Это был тот самый, которого Фридрих видел в первый день приезда, подле пристани, Шифман из кафе на Альзергрунде.

– Простите меня за смелость. – извинился он перед Литваком. – Я увидел снизу одного старого знакомого. Не знаю, помнит ли еще меня доктор.

– Конечно, Шифман, конечно, –ск азал Фридрих, улыбаясь, и протянул ему руку.

– Но это удивительно, честное слово, это прямо удивительно! Так вы, значит, не умерли?

– Как видите. А вы тотчас узнали меня?

– Нет, честное слово, нет. Мне кто‑то пришел на помощь. Одна дама, которую вы когда‑то хорошо знали. Угадайте кто? – он многозначительно улыбнулся. Фридрих застыл от испуга. Он внезапно понял, кто его узнал, но не решался произнести ее имя.

– Ну? Вы не можете угадать, доктор! Вы забыли своих старых друзей и приятельниц?

Фридрих холодно ответил:

– У меня здесь, кажется, нет друзей, кроме семьи Литвака.

– Ее имя Эрнестина! – подсказал ему Шифман, лукаво улыбаясь.

– Как? Фрейлейн Леффлер?

– Нет, фрау Вейнбергер. Неужели вы забыли? Вы, ведь, были на помолвке? И я видел вас тогда последний раз. После этого вечера вы исчезли.

– Да, да, припоминаю. И фрейлейн… фрау Вейнбергер тоже здесь живет?

– Конечно! Она сидит внизу, рядом со мной. Я вам покажу ее…

Он наклонился над самым ухом Фридриха и заговорил шопотом:

Между нами говоря, ей не очень‑то хорошо живется. Ее муж, Вейнбергер, неудачник. В Брюнне ои обанкротился, потом занимался в Вене агентурой и, наконец, приехал сюда, но ему и здесь не везет. Если бы я не принял участия в них, им солоно пришлось бы. А ведь, она, как вам известно, привыкла к шелковым платьям, к ложам, к балам. Ну а теперь, если бы я не доставал ей от времени до времени билетов, она сидела бы дома и хандрила вечно. Времена меняются.

Фридриху надоела эта болтовня и он хотел как‑нибудь прекратить излияние Шифмана.

– Я буду очень рад, – сказал он – видеть Эрнестину. Где она сидит?

– В предпоследнем ряду, с краю. Если вы наклонитесь немного, вы увидите ее. Впрочем, я сейчас сяду на свое место. Подле меня сидит ее дочь, потом она… Я очень рад, доктор, встрече с вами, Надеюсь, вы останетесь у нас? Во всяком случае, на некоторое время?

– Не знаю, Шифман. Это зависит от разных обстоятельств.

– Прекрасно, прекрасно! Если пожелаете видеть меня, окажите мне только два слова по телефону. Честь имею кланяться…

И он с почтительными заискивающими поклонами скользнул в полуоткрытую дверь.

– Ни малейшего желания не имею видеть его вторично, – тихо сказал Кингскурт Фридриxу, который только пожал плечами в ответ.

Начался второй акт. Саббатай находился уже в Египте. Сцена изображала великолепный праздник с пением и танцами. Но Фридрих почти ничего не видел и не слышал. Старые мечты вновь вспыхнули в нем. Там, подле Шифмана сидела она Но как странно! Не сон ли это? Та же странная, тонкая фигура, те же милые нежные черты! Это была та же Эрнестина Леффлер, которую он знал двадцать лет тому назад? Неужели двадцать лет прошли бесследно для нее?.. Но в то же мгновенье он понял свою ошибку. Эта молодая девушка была дочь Эрнестины. А фрау Вейнбергер была сидевшая с ней рядом полная поблекшая дама, в пестром безвкусном наряде. Она смотрела наверх и, когда Фридрих поклонился ей, дружески закивала головой и улыбалась ему.

В этот миг что‑то нежное и дорогое, жившее в нем целых двадцать лет, разбилось и разсеялось, как пыль. В своем одиночестве, на далеком острове он часто с грустью думал об Эрнестине. Злобная тоска вскоре сменилась чувством тихой печали, и в последние годы его любовь рисовалась ему в затуманенных временем мягких розовых тонах. Но, когда он мечтал об Эрнестине, он представлял ее себе такой, какой он ее знал и любил. И, увидев внезапно яркие следы прожитых двадцати лет, он поразился и не мог прийти в себя от неприятного изумления. Он чувствовал и стыд и облегчение. И он мог терзаться двадцать лет из‑за этой женщины!….

Задушевный милый голос вывел его из раздумья.

– Понравилось вам? – спросила Мириам.

– Слава Богу, это кончилось, наконец! – рассеянно ответил он.

– Что же! Неужели вы так недовольны исполнением?

Он смутился.

– Нет, я не о втором акте говорил, фрейлейн Мириам: я думал о чем то старом. Я думал, что оно еще живет, но, слава Богу, оно умерло.

Она удивленно взглянула на него и больше не расспрашивала.

В ложу вошел незнакомый господин. Давид Литвак представил его своим гостям. Д‑р Веркин, секретарь президента. Это был худощавый человек с короткой бородкой, с заметной проседью, и пытливыми умными глазами под светлыми блестящими очками. Доктор Веркин пришел по поручению президента, который приглашал Кингскурта и Левенберга в свою ложу.

Кингскурт был поражен:

– Нас! И что это за президент? И откуда он знает нас, несчастных отшельников!

– Это президент нашей Новой общины, – ответил Давид, улыбаясь. – Он сидит вот там, напротив, в ложе…старик с белоснежной бородой.

Они посмотрели в ту сторону куда Литвак указал им.

– Черт возьми, и мне кажется, что я где‑то видел его! Где только? – говорил Кингскурт. Фридрих вспомнил:

– Глазной врач из Иерусалима… доктор…

‑Доктор Айхенштам! – подсказал Давид – Вот его мы и выбрали себе в президенты.

– И он узнал нас двадцать лет спустя после единственной встречи? – удивлялся Кингскурт.

Доктор Веркин сказал:

– Дочь его узнала вас и обратила на вас внимание президента.

Давид обратился к секретарю:

– Можно и мне с вами?

– Конечно! Президент хотел, чтоб вы сами рассказали ему про вашу борьбу с Гейером.

Доктор Веркин повел их в ложу президента. Д‑р Айхенштам, опираясь на палку, ждал их в маленькой изящной гостиной, отделеной драпировкой от открытой части ложи

– Какое неожиданное свидание, не правда ли? – дрожащим голосом сказал старик и сердечно пожал руки гостям.

– Да, президент!… Черт меня побери…я этого не ждал!… – ответил Кингскурт на приветствие.

– Сядем, сядем, господа! Прежних сил у меня уже нет! – говорил президент, улыбаясь, и опустился в кресло, подвинутое ему лакеем. – Для нашего народа наступило теперь лучшее время, для меня – то время было лучшим… senectus ipsa morbus. Ничего не поделаешь. С этим надо мириться.

Он указал на стоявшую с ним рядом женщину в черном платье, без всяких украшений, и добавил:

– Дочь моя, Саша, узнала вас и напомнила мне нашу встречу перед скорбной стеной… Да, это уже далекое прошлое!.. Ах, эта бывшая скорбная стена!..

– Бывшая? – спросил Фридрих. – Разве ее нет уже? Даже этого последнего воспоминания?

Президент покачал головой:

– Из ваших слов я заключаю, что вы не были еще в Иерусалиме?

– Нет, господин президент! – скромно вставил Давид. – Они сегодня только приехали и очень мало еще видели у нас. Президент приветливо положил руку на его плечо.

– Я очень рад видеть вас, дорогой Литвак… я всегда рад вам, и особенно теперь. Не падайте духом, – и вы выйдете победителем из этой борьбы. Вы правы, Гейер неправ. Моими прощальными словами к нашим евреям будут: пусть всем, без исключения, дышется легко в нашей стране… А вам, Литвак, дай вам Бог сил на работу и на борьбу… Вы говорите, дорогие гости, что мало еще видели в нашей стране? Но вы знаете одного из лучших людей. Я горжусь этим Давидом Литваком, как если бы он был моим созданием… Но он всем обязан самому себе.

Давид зарделся густым румянцем, смущенно опустил голову и пролепетал:

– Что вы, господин президент!…

– Нет, уж вы позвольте мне, Литвак, похвалить вас в лицо. Я – старик, и меня в подобострастии. заподозрить нельзя… Видите ли, дорогие мои гости, я – уходящая волна, а он – приходящая. Дай‑ка и мне чашку чаю, Саша!

Чай был сервирован по‑русски. Когда Кингскурт и Левенберг коснулись в разговоре того, что они прожили двадцать лет вдали от культурного мира, Саша спросила их:

– Вам не жаль потерянного времени? Вы могли бы содействовать великому делу, быть полезным огромной массе людей.

– Нет, нисколько не жаль! – ответил Кингскурт. – Мы оба отъявленные враги человечества и заботимся только о личном нашем благополучии. В этом вся наша жизненная программа. А, Фритц?

– Вы шутите! – сказала Саша. – Я понимаю, что вы шутите. Ведь, делать добро – счастье, несравненное счастье.

Давид вмешался в разговор:

– Фрейлейн Айхенштам говорит на основании личного опыта – ей знакомо это счастье. Она заведует наибольшей глазной лечебницей во всем мире. Если позволите, фрейлейн, я поведу наших гостей в вашу клинику, как только мы, приедем в Иерусалим. Там многим уже спасено зрение и вновь возвращено. Эта клиника – великое благодеяние для востока. Сюда приходят больные из Азии, из северной Африки. Наши лечебные заведения создали нам несравненно больше друзей и в Палестине, и в соседних странах, чем все наши технические и промышленные учреждения.

Саша отклонила похвалу:

– Господин Литвак преувеличивает мои заслуги. Я ничего нового не сделала. Но у нас есть один великий человек, это Штейнек, бактериолог. Вы непременно ознакомьтесь с его институтом. Вы будете поражены.

– У вас уже составлен маршрут? – спросил д‑р Айхенштам.

– Я первым делом повезу моих гостей в Тибериаду, господин президент. Мы едем завтра к моим родителям.

– Чтобы провести с ними первые дни пасхи, да? – сказал президент. – Передайте мой привет вашим старикам, Литвак! А когда вы будете со своими друзьями в Иерусалиме, приведите их ко мне. Я буду ждать вас.

Он пожал всем троим руки и они вышли из ложи, так как звуки оркестра возвестили уже начало третьего акта. Когда они проходили пустое фойе, Кингскурт сказал:

– Чудесный человек, повидимому, ваш президент. Но очень уж стар, дряхл. Почему вы выбрали именно его?

– По очень простой причине – ответил Давид. – Мы избрали его потому, что он этого не хотел.

– Час от часу не легче!

– Да! Мы покорно следуем совету наших мудрецов: да воздаются почести тому, кто их не добивается!

## КНИГА ТРЕТЬЯ.

ЦВЕТУЩАЯ СТРАНА I

В назначенный день поездки в Тибериаду солнце в небо и вся природа улыбались прелестными душистыми улыбками весны. К подъезду виллы подкатил огромных размеров автомобиль, который мог вместить человек двенадцать.

– Черт побери! – весело воскликнул Кингскурт. – Да, ведь это Ноев ковчег. Он вместит весь грешный скот и род человеческий.

– Нас будет только одиннадцать человек. – сказал Давид.

– Одиннадцать? Я вижу только девять. Вы очевидно, считаете Фритцхен за трех? Великолепная идея, ведь, – взять с собою мальчугана.

Фритцхен, находившийся на руках у кормилицы, догадался, что речь идет о нем, и, громко сообщив что‑то на ему одному понятном языке, вожделенно протянул ручонки к белой бороде Кингскурта.

– Мы по дороге захватим еще двух друзей, – сказала Сара. – Решид‑бея и архитектора Штейнека.

Слуга вынес вещи и уложил их в приспособленное для этого пространство под сиденьем, Только корзинка с провизией и молоком для Фритцхен осталась наверху. Сзади уселись истопник и слуга. На переднем мягком сиденье разместились Мириам, Сара и Фридрих. Кингскурт изъявил желание сесть в отделение, защищенное стеклянной стеной для того будто бы, чтобы укрыться от возможного в дороге ветра, в действительности же только потому, что там должен был поместиться маленький Фритц.

Он сел под навес и попросил подать ему ребенка. Но мальчуган, очутившись на коленях Кингскурта, вцепился в него ручонками и выразительной мимикой и жестами отказался перейти опять на руки к кормилице. Давид попытался воздействовать на него отеческой строгостью, но потерпел полную неудачу.

Кингскурт сделал недовольное лицо и сыпал сердитыми словами:

– Какой невоспитанный мальчуган! Да оставишь ли ты меня в покое?

– Дайте его мне! – сказал Давид. – Он поплачет немного и утихнет! Давайте его!

Но у Кингскурта ни малейшего желания не было отдавать мальчика. Он удобно усадил ребенка и стал щекотать его в грудь и в шейку, пока тот не начал заливаться веселым заразительным смехом.

– Пострел этакий! Ему и горя мало, что старый Кингскурт станет посмешищем всей Хайфы. Хорошо еще, что меня здесь никто не знает.

Автомобиль выехал из двора при общем возбужденно‑радостном настроении пассажиров и вскоре стал спускаться вниз по горе Кармель. Решид‑бей уже поджидал их у ворот своего дома, в дорожном костюме. Последовал обмен сердечных приветствий. За деревянной решеткой окна в первом этаже показалась стройная женская фигура в белом и махнула платком.

Сара, смеясь, крикнула невидимой женщине:

– До свиданья, Фатьма! Мы доставим тебе обратно мужа целым и невредимым. Будь совершенно покойна.

Вещи Решид‑бея уложили в экипаж. Мусульманин сел рядом с Давидом. Дамы бросили белой фигуре за решеткой еще несколько прощальных приветствий и автомобиль опять запыхтел.

Фридрих наклонился к Мириам и тихо сказал ей:

– А бедная женщина осталась одна дома!

– О, она такой жизнерадостный человек! И нисколько не тоскует в своем одиночестве. Я убеждена, что она от души рада поездке мужа. И он не поехал бы, если бы мог предполагать, что это доставит ей хотя бы малейшее огорчение…Они оба – прекрасные, милые люди!

– Но я вообще не понимаю, как можно добровольно сидеть за решеткой в такое дивное утро!

– Не правда ли, дивное утро? – с сияющим лицом вставила Сара. – Такие весенние дни бывают только в нашей стране. Здесь жизнь лучше и краше, чем где бы то ни было

И Фридрих чувствовал себя проникнутым счастьем и не мог себе объяснить своего настроения, Он опять был молод, бодр и весел, ему хотелось смеяться, шутить.

Он обратился к Мириам и, изобразив на своем лице строий укор, сказал ей:

– А как же ваша школа, фрейлейн Мириам? Вот как вы относитесь к своим священным обязанностям!

Мириам рассмеялась.

– Ничего, ничего он не знает! И это еврей! Имею честь сообщить вам, милостивый государь, что сегодня у нас началась Пасха. Мы поэтому и едем к родителям, в Тибериаду, где хотим отпраздновать первый вечер. Неужели Давид ничего не сказал вам?

– Брат ваш несколько раз намекал на то, что в Тибериаде мы узнаем подробности о переселении евреев. Так вот в каком смысле надо было это понимать? Но историю переселения евреев из Египта я знал еще в раннем детстве.

– Быть может, Давид и на что‑нибудь другое намекал. – задумчиво сказала девушка.

Автомобиль повернул направо от улицы, ведшей к центру города, и вскоре выехал в предместье, где протекал Кишон. Экипаж покатил по набережной, окаймленной зелеными шпалерами деревьев, и остановился перед небольшой прелестной виллой. На ступеньках подъезда стоял господин с седыми усами и, откинув голову назад, смотрел поверх своего пенснэ на подъехавший автомобиль и энергично жестикулировал.

– Я на вашем месте вовсе не приехал бы! – крикнул он им навстречу. – Я уже полчаса караулю здесь. Никогда в моей жизни не буду больше аккуратен.

Давид вместо ответа поднес к его глазам свои часы.

– Это ничего не доказывает! – горячился Штейнек. – Ваши часы отстают. Да я вообще не верю часам. Вот возьмите, пожалуйста, мои планы. Но не мните их, ради Бога!.. Так! Ну теперь я сяду.

Он передал Давиду три больших картонных свертка, которые он держал под мышкой, и, кряхтя, влез в экипаж. Но, едва лишь автомобиль тронулся, Штейнек закричал благим матом:

– Стой, стой! Назад, я забыл свой саквояж.

– Его пришлют вам с большим багажом, – успокаивал его Давид. – Я распорядился, чтоб весь наш багаж послали по железной дороге прямо в Тибериаду, потому что мы, ведь, сделаем значительный крюк.

– Это невозможно! – вопил архитектор. – Моя речь лежит в саке. Мы должны вернуться.

Они вернулись. Когда заветный сак очутился, наконец, в экипаже, Штейнек облегченно вздохнул и внезапно пришел в отличное расположение духа. В сравнительно тесном пространстве автомобиля сказалось два величайших крикуна в мире. Штейнек, как и старый человеконенавистник, имел обыкновение сопровождать самые обычные простые слова отборной руганью. Как только их представили друг другу,. оба. тотчас загудели, как иерихонские трубы. Давид и Решид слушали их и улыбались. Но вдруг Кингскурт поднес палец к губам и этим жестом заставил и Штейнека замолчать.

– Хотя вы и говорили очень громко, – сказал он архитектору, – Фритцхен, однако, уснул под музыку вашего голоса.

И при общем смехе он бережно поднял ребенка и положил его на руки кормилицы.

– Мистер Кингскурт, – обиженно проговорил Штейнек, – неужели я говорил громче вас?

Улица, по которой они ехали теперь, вызывала частые удивленные вопросы Кингскурта и Левенберга. Движения здесь было, конечно, меньше, чем в городе, но оживления и тут было достаточно.

Взад и вперед катили велосипеды, автомобили. На широкой немощеной тропинке, параллельной шоссе, мелькали всадники, одни в живописной одежде арабов, другие в европейских костюмах. Встречались и верблюды, в одиночку или несколько в ряд, напоминавшие караваны, живописный пережиток далеких времен. По обееим сторонам дороги красовались небольшие домики с садиками, вдали зеленели поля. Кингскурт обратил внимание на проведенные от проводов, тянувшихся на столбах вдоль улиц, ответвления к маленьким домикам.

– Это телефонные проволоки? –спросил он. – И что здесь за народ живет?

Решид‑бей ответил ему:

– Здесь большей частью живут ремесленники. В этой деревушке живут сапожники. В эти проволоки проводят электрические токи для их маленьких машинок. Разве это ново для вас?

– О, нет, это уже в мое время было известно. Но практически еще оно не применялось. А откуда проводится электричество?

– У нас имеется много электрических обществ. Но эти жители получают токи преимущественно из горных рек Гергона и Ливана или из канала, отведенного из Мертвого моря.

– Невозможно! – изумленно воскликнул Кингскурт.

– Да! – убедительно прогремел Штейнек в ответ.

– Эти ремесленники также отчасти крестьяне, – сказал Давид. – Свою работу они сбывают артелью в большие магазины, склады или за границу. Но они составляют также сельскохозяйственные союзы, характер которых зависит от условий топографических. Вблизи больших городов преобладает ремесленная деятельность, и земледелие незначительно, так что в таких местностях ремесленник, кроме продуктов, необходимых для него самого, очень мало добывает из земли, разве немного фруктов и овощей для городских рынков. В местностях, лежащих в прибрежной полосе, напоминающей по климату Ривьеру, разводят томаты, артишоки, дыни, petits pois haricots verts и тому подобные овощи. Самые ранние овощи мы посылаем по железной дороге в разные города Европы, в Париж, Берлин, Москву, Петербург. Но есть и такие местности, где преобладает сельскохозяйственная деятельность, а ремесленная очень ограничена, и при подспорье новейших технических приспособлений производит только самое необходимое для домашнего употребления. Таковы наши деревни, рассееянные по всей цветущей стране. Надеюсь, вы не представляете себе какие‑нибудь гнезда грязи и нищеты, которые в прежнее время назывались деревнями. Мы сегодня же увидим такую деревню, общий тип, повторяющийся в Палестине в бесчисленных видах на восток и на запад от Иордана.

Они проехали мост через Кишон и экипаж быстрее покатил меж двумя рядами лимонных и апельсинных рощ. Из зелени листвы весело выглядывали красные и золотистые плоды.

– Черт меня побери, ведь это Италия! – сказал Кингскурт.

– Культура – великое дело! – громко ответил Штейнек, словно возражая кому‑то. – Мы, евреи, ввели здесь культуру.

Решид‑бей мягко улыбнулся:

– Простите, милейший человек! Это было еще до вас. Еще отец мой разводил апельсины, и в большом количестве.

Он обратился к Кингскурту и указал ему. пальцем на сад по правую сторону от дороги.

– Я это знаю лучше нашего милого Штейнека. Вот это сад моего отца; теперь он принадлежит мне.

Общество залюбовалось прелестным садом с цветущими деревьями и золотившимися на ветках плодами.

– Да я не отрицаю того, что у вас уже до нас было кой‑какое производство, но сбывать его вы можете только теперь.

Решид‑бей утвердительно кивнул головой.

– Совершенно верно. Наши доходы значительно поднялись. Вывоз апельсинов увеличился в десять раз с тех пор, как у нас имеются хорошие пути сообщения. Да вообще с вашим переселением в Палестнну страна стала неузнаваемой.

– Один вопрос! – вставил Кингскурт. – Надеюсь, он никого не обидит, для этого мои новые друзья слишком умны. Переселение евреев в Палестину не принесло несчастья прежним жителям. Это не вынудило их уехать отсюда? Я разумею массовую эмиграцию. То, что несколько человек нашли нужным убраться по добру, по здорову – в счет ведь нейдет.

– Что за вопрос! – ответил Решид. – Это было благословением для всех нас. Прежде всего, разумеется, для землевладельцев, которые продавали свои участки еврейской общине; за высокие цены. Многие вначале воздерживались от продажи и выжидали еще большого повышения цен. Я, с своей стороны, счел для себя выгодным продать свою землю.

– Да, ведь, вы говорили, что сады, мимо которых мы проезжали – ваши?…

– Конечно! Я их продал, и тотчас взял их в аренду,

– Зачем же вы продали их?

– Потому, что это было выгоднее для меня. Так как я хотел примкнуть к Новой общине, то я должен был подчиниться: ее уставу. А члены общины не имеют никакой земельной собственности.

– Значит, Фридрихсгейм не вам принадлежит, Литвак?

– Земля – нет. Я ее арендовал только до ближайшего юбилейного года, как и Решид‑бей свои сады.

– Юбилейный год? Объясните, пожалуйста, точней, что это за штука! Я, кажется, много вещей проспал на своем острове.

– Юбилейные года не новость – сказал Давид. – Это очень старинное постановление нашего пророка Моисея. После семью‑семь лет, значит, на пятидесятом году, проданные земли без убытка возвращаются к первоначальному владетелю. У нас земли вновь возвращаются общине. Уже Моисей имел в виду справедливое распределение земли; он хотел предупредить сосредоточение земельной собственности в одних руках. Вы убедитесь, что мы не хуже служим этой цели. Вздорожание земли обогащает не частных лиц, а всю общину.

Штейнек счел нужным предупредить возражение Кингскурта:

– Вы, быть может, скажете, что тогда ни у кого охоты не будет улучшать почву, которая ему не принадлежит, и строить на ней красивые здания?

– О, нет, нет, этого я не скажу. Вы напрасно считаете меня таким дураком. Я думаю, что в Лондоне многие строят свои дома на чужой земле, которая арендуется на 99 лет. Это, ведь, то же самое… Но я хотел спросить, что стало с прежними обитателями страны, у которых не было никакой собственности…с многочисленными аравийскимй магометанами.

– Тем, у которых ничего не было, и терять нечего было – они могли только выиграть. И они действительно получили больше, чем могли ожидать: работу, пропитание и, наконец, достаток. Трудно представить себе, что‑нибудь более жалкое и плачевное, чем арабская деревня в конце девятнадцатого столетия. Крестьяне жили в нищенских лачугах. Дети, грязные, безпризорные, валялись на улицах и росли, предоставленные воле судьбы. Теперь же совсем не то. Великолепные благотворительные учреждения немедленно занялись их положением, даже не справляясь с тем, желательно это им или нет, примкнули они к Новой общине или не примкнули. Когда стали осушать болота, проводить каналы и разводить эвкалипты, оздоровляющие почву, местные человеческие силы, бездеятельные и инертные, тотчас нашли себе применение, и труд – прекрасное вознагражденье. Взгляните‑ка на эти поля. А я помню еще, когда я был ребенком, здесь стояли болота. Эту землю Новая община приобрела за бесценок, как негодную почву, и путем усовершенствований довела до высокой стоимости наилучшей пахотной земли. Посевы принадлежат деревне, которая белеет вон на том холме. Вы видите, где маленькая мечеть… Народ этот стал несравненно счастливее; он теперь хорошо питается, дети растут в хороших уоловиях, учатся кой‑чему. На их религиозные верования, на их обычаи никто не посягает – они получили то, о чем и мечтать не дерзали.

– Презабавный вы народ, магометане! Неужели же вы не смотрите на евреев, как на людей, которые вторгнулись в ваши владения и утвердились здесь в роли хозяев?

– Господи, как странно слушать теперь такие слова! – ответил Решид‑бей. – Разве вы смотрели бы, как на разбойника, на человека, который не только ничего не отнимает у вас, но дает вам то, что нужно и полезно вам. Евреи обогатили нас – что же мы можем иметь против них? Они живут с нами, как братья с братьями – за что же нам не любить их? Среди моих единоверцев у меня нет ни одного такого друга, как Давид Литвак. Он может притти ко мне днем и ночью и потребовать от меня все, что он пожелает, и он все получит. И я, с своей стороны, знаю, что могу разсчитывать на него, как на брата. Он молится в другом доме тому же Богу, которому молюсь и я. Но храмы наши стоят рядом, и я всегда думаю, что молитвы наши, поднимаясь к небесам, сливаются где‑то в вышине, и совершают последний путь к Господу Богу, слитые в одно пламенное обращение.

Искрениий серьезный тон его слов растрогал слушателей. Кингскурт закашлял..

– Гм!.. Гм!.. Так, конечно! Это звучит очень красиво!.. Но, ведь, это говорите вы, образованный человек. Вы учились в Европе. Ведь, эти слова исходят не от простолюдья, от крестьян, от рабочих..

– Скорее именно от них, мистер Кингскурт. Вы простите меня, пожалуйста, но веротерпимости я на западе не научился. Мы, магометане, издавна лучше сживались с евреями, чем вы, христиане. Уже в то время, когда здесь появились первые еврейские колонисты, в конце прошедшего столетия, часто случалось, что спорящие арабы избирали в судьи еврея, или же обращались к представителю еврейской колонии за помощью, советом или решением спорного вопроса – при таких условиях, разумеется, полное сближение было вполне осуществимо. До тех пор, пока направление доктора Гейера не получит перевеса, до тех пор и будет длиться счастье нашей общей родины.

– А что это за Гейер, о котором я столько слышал?

Штейнек побагровел и заговорил громовым голосом:

– Проклятый ханжа, краснобай, подстрекатель, богохульник! Он хочет отравить нашу отрану ядом нетерпимости, этот негодяй! Я, по природе, очень сдержанный и спокойный человек, но, когда я вижу такого нетерпимого лицемера, мною овладевает непреодолимое желание его задушить.

– Ах, так вы толерантный? – со смехом спросил Кингскурт. – Ну, воображаю, какой у вас сдержанный народ нетолерантные.

– У этих господ, обыкновенно, очень кроткий вид, – пошутил Давид.

Автомобиль оставил за собою равнину и повернул на восток, в холмистую местность. Склоны холмов были застроены до самых вершин, каждый клочок земли использован. На более крутых уступах возвышались террасы, как во времена царя Соломона здесь росли гранаты, фиги и виноград. Множество рассадников говорило об усилиях и просвещенном старании населения культивировать эту неблагодарную почву. На гребнях гор темнели силуэты пиний и кипарисов, красиво и отчетливо выделявшиеся на светлом фоне лазурного неба. Экипаж въехал в прелестную долину, поразившую путешественников изобилием цветов. Пред ними словно раскинулся яркий ковер, раскрашенный белыми, желтыми, красными, голубыми и зелеными тонами. Им казалось, что они очутились в каком‑то душистом море. Легкий ветерок поминутно приносил новые волны ароматов, которые сливались с игрою красок и неуловимой нежной мелодией, дрожавшею в воздухе, в одну дивную, чарующую симфонию. На изумленные вопросы Кингскурта и Левенберга, Давид и Решид‑бей объяснили им, что здесь разведено огромное цветоводство для парфюмерных фабрик. Вся долина представляла собой один сад, в котором росли в несметных количествах розы, нарциссы, туберозы, жасмин, герань и фиалки. Крестьяне, работавшие близ проезжей дороги, встречали проезжавших радостными приветствиями, на которые Литвак, Решид‑бей и Штейнек любезно отвечали. У всех трех, повидимому, было много знакомых среди этих бодрых, крепких крестьян. В поселке, называвшемся Сефорис, автомобиль в первый раз остановился. На площади, перед греческой церковью, Давид вышел из экипажа, и, извинившись перед своими друзьями, вошел в нарядный церковный домик; он должен был навестить своего друга, русского священника. Остальные тоже вышли из автомобиля и подошли к недалекому холму, на котором находились развалины старинной церкви. Отсюда открывался великолепный вид на цветущую равнину, вплоть до самого Кармеля. И Мириам рассказала, что когда‑то здесь был христианский храм в честь Иоахима и Анны, родителей пресвятой Марии, которые жили здесь. Новая греческая церковь принадлежит колонии русских христиан, основавшейся вокруг Сефориса. Давид в очень хороших отношениях со священником и хочет пригласить его с собою в Тибериаду на цервые дни еврейской пасхи. Скоро появился и Давид в сопровождении благообразного, высокого попа, который очень сожалел, что не может сейчас же ехать с ними. Он мог поехать только после обеда электрической дорогой на Назарет, и рассчитывал, тем не менее, раньше их быть у родителей Литвака.

Компания сердечно простилась с симпатичным священником, и автомобиль покатил на север, к широкой равнине.

II

Стеклянная стенка между передним и средним отделениями экипажа была спущена для облегчения разговора с Кингскуртом. После Сефориса пришлось еще остановиться перед железнодорожной рогаткой, так как в эту минуту по полотну мчался курьерский поезд. Кингскурт и Левенберг удивились отсутствию трубы при локомотиве и им объяснили, что этот поезд, как на всех почти палестинских дорогах, приводится в движение электричеством. Это было одно из преимуществ введения новой культуры в этой стране. Именно потому, что до конца девятнадцатого столетия она была в полном запущении, в каком‑то первобытном состоянии, можно было сразу воспользоваться всеми новейшими завоеваниями в области техники. То же самое было при постройке городов, проведении каналов и железных дорог, в сельском хозяйств и промышленности. В распоряжении еврейских переселенцев, хлынувших сюда со всех концов света, имелся долголетний опыт всех культурных народов. Образованные люди, которые явились сюда из университетов, технических, сельскохозяйственных и коммерческих школ цивилизованных государств, были вооружены всевозможными знаниями. И вот эта бедная, молодая интеллигенция, силам которой не было никакого применения в антисемитских странах, которая там представляла собою безнадежный, вечно протестующий пролетариат – эта образованная и преждевременно разочарованная еврейская молодежь была благословением для Палестины, потому что она принесла с собою новейшие знания во всех областях науки.

Фридрих вспомнил слова, сыгравшие такую видную роль в его жизни, и обратился к своему другу с непонятным для других вопросом:

– Образованный, разочарованный жизнью молодой человек, вы помните, Кингскурт? Ничего удивительного, что явился еврей. В то время среди нас было много таких, мы все почти были такие.

– Но вы чертовски хитрый народ, – сказал Кингскурт. – Нам вы оставили старое железо, а вы сами катите на новых машинах.

Штейнек загудел в ответ:

– Да с какой же стати нам было пользоваться старым, когда мы за те же деньги могли получить новейшие лучшие машины. Впрочем, то, что вы видите здесь, уже в девятидесятых годах. прошедшего столетия было в Европе и Америке, в особенности в Америке. Американцы значительно опередили Старый свет, и мы, раэумеется, многое позаимствовали у них.

– Для нас, – добавил Давид. – Переход к лучшим новейшим путям сообщения не связан был с такими крупными денежными жертвами, как в других странах, потому что нам нечего было уничтожать. У нас не было нужды пользоваться плохими машинами до тех пор, пока они не стали бы совершенно негодными. Наши вагоны снабжены всевозможными удобствами: вентиляцией, ярким светом ; в них нет ни дыма, ни пыли, и при очень значительной скорости вы почти не ощущаете тряски. Вагоны рабочих поездов не напоминают собою хлева, как в прежнее время. Народное здоровье для нас – вопрос большой важности. Вам, вероятно, не безинтересно знать, что стоит у нас пользование железными дорогами. Для пассажирских поездов мы установили ту же тарифную систему, которая введена была в Бадене, в правление доброго и мудрого великого герцога Фридриха. Мы хотели всячески облегчить в общих интересах поиски работы. У нас немыслимо, чтобы по причине высокой проездной платы катили пустые поезда из одного места, где людям нужен хлеб, в другое место, где нужны рабочие силы. От Ливана до Мертвого моря и от прибережья Средиземного моря до Джолана и Гаурана тянутся рельсы, обогащающие страну. Разумеется, грузовой тариф, как внутренний, так и транзитный, весьма повышенный, так как у нас имеются житницы и гавани в Малой Азии и северной Африке… Но об этих социальных и экономических преимуществах железных дорог я теперь говорить не буду. Все, это вещи вам известные, хотя вы провели двадцать лет вне мира. Все это люди знали уже двадцать лет тому назад.

– При всей своей глупости, – любезно вставил Штейнек.

Давид продолжал:

– Но чего никто не, знал, так это красоты нашей дорогой страны. Многое, правда, создано здесь культурным трудом, но природная красота, данная ей Богом, целые столетия никому не была известна. Найдете ли вы в мире другую страну, в которой во все времена года вы могли бы наслаждаться весной. У нас есть теплые, умеренные, холодные пояса, лежащие недалеко друг от друга. На юге Иорданской долины почти тропический пейзаж, на всем морском побережьи благодать итальянской и французской Ривьеры и недалеко от великолепной цепи Ливанских и Антиливанских гор – покрытый снегами гордый Гермон. И все эти места на расстоянии нескольких часов езды друг от друга. Господь благословил страну нашу.

– Да, – сказал Решид, – у нас езда большое удовольствие. Я часто, без всякой цели, сажусь в вагон и езжу только для того, чтобы любоваться пейзажем из окон вагона.

– Любезнейший хозяин! – сказал Кингскурт Давиду, – отчего же вы нам не предложили этого удовольствия вместо сего удивительного Ноева Ковчега? И, по правде сказать, я не нахожу, чтобы мы мчались с особенной быстротою…

Давид стад извиняться:

– Я по двум причинам не предложил вам поехать по железной дороге. Во‑первых, потому, что из автомобиля вы имеете возможность видеть больше интересных для вас вещей. Во‑вторых, потому что в пасхальные дни на линии Хайфа‑Назарет‑Тибериада масса иностранцев, прямо несметные количества паломников, едущих поклониться Святым местам. Правда, эта космополитическая, пестрая, разноплеменная толпа представляет собою в высшей степени интересное зрелище. Но я хотел ознакомить вас раньше с органической жизнью нашей страны.

– Ну а как же вы разрешили вопрос о Святых местах? – спросил Фридрих.

– Очень просто, – ответил Давид. – Когда сионистское движение в конце прошедшего столетия выдвинуло этот вопрос, многие евреи считали его неустранимым препятствием к достижению желанной цели. И вам, доктор, благодаря вашему долгому отшельничеству вопрос этот кажется, по‑видимому, неразрешимым. Но печать, обсуждавшая этот вопрос, и влиятельные государственные деятели и иерархи выяснили, что препятствие существует только в воображении мнительных евреев. Святые места, ведь, с незапамятных времен находятся в государственном владении не христиан. Так как крестовые походы давно прекратились, то постепенно создался другой и более идеальный взгляд на подвластное положение освященных верою мест. Готфрид Бульонский и его добрые рыцари терзались мыслью о том, что Палестина находится в руках мусульман. Таких чувств у рыцарей девятнадцатого века уже не было. А. как относились к этому вопросу правительства? Отважился ли какой‑нибудь парламент предложить экстренную ассигновку на завоевание Святой Земли? Положение дела было таково, что такая война велась бы скорее против других христианских держав, чем против султана. Это был бы крестовый поход не против Турции, а против другого креста. И, таким образом, пришли к общему соглашению, что для общего мира необходимо удержать так называемый status quo. Но это было только практическое политичеокое соображение. В то же время шла также эволюция духовного взгляда на вещи. О фактическом владении кем‑либо Святой Землею не могло быть и речи. Религиозное чувство могло скорее удовлетвориться сознанием, что Святая Земля не принадлежит никому, не подчинена никакой земной власти. По положению, заимствованному из римского права, все священные места объявлены были, как rex sacra, extra commercium. Это было единственное, вернейшее средство сделать их навеки общим достоянием правоверных христиан. И когда вы будете в Назарете Иерусалиме или Вифлееме, вы увидите вполне мирные толпы богомольцев. Меня, убежденного еврея, эти картины самозабвенного преклонения перед святыней трогают и волнуют до глубины души.

– Когда вы приезжаете в Вифлеем или Назарет, вы невольно вспоминаете описания Лурда, – сказал Штейнек. – Такая масса народу, множество монастырей, новых отелей, постоялых дворов!

Увлеченные разговором, они и не заметили, как проехали значительную часть равнины. Это было огромное пространство, засеянное пшеницей, ячменем, маисом и хмелем, маком и табаком. В долине и на склонах гор белели деревушки и выделялись размерами хозяйственные службы.

На пышных сочных лугах паслись стада коров и овец. Здесь и там сверкало железо сельскохозяйственных машин. И в лучах весеннего солнца весь пейзаж делал впечатление картины полного, безмятежного счастья. Они проехали несколько деревень, заглядывали в крестьянские дворы, видели мужчин и женщин за работой, резвившихся ребят и стариков, гревшихся на солнышке перед домами своих детей. Кингскурт и Левенберг обратили внимание на то, что чем дальше они ехали, количество пешеходов увеличивалось. Все направлялись, по‑видимому, к югу, к расположевной на холме обширной колонии. Они обгоняли пешеходов, мужчин и женщин, которые кланялись им и кричали «Гедад!» Некоторые же кланялись неприветливо, или же вовсе отворачивали голову в сторону. Оживление на дороге возрастало. Из каждой попутной деревушки выходили люди и быстро следовали за автомобилем, некоторые даже бежали. Было много всадников несколько велосипедистов старались обогнать автомобиль. Гости Давида скоро сообразили, что жители этой местности, очевидно, предупреждены почему‑то об их приезде и встречают их. Так оно в действительности и было. Колония, с превосходными службами, великолепным скотом, отлично возделанными полями, называлась Нейдорф. И все говорило здесь о высокой культуре и полном достатке. Перед нарядным домом местного управления ждала группа людей, и, когда автомобиль остановился, раздалось дружное и громкое «гедад» сотни голосов.

– «Гедад» – это то же, что «ура», – объяснил Решид Кингскурту, когда они выходили из экипажа.

– Я тотчас подумал, что это означает «ура» или «долой» – ответил старик.

Они хотели было войти в дом, когда небольшой хор чистенько одетых школьников, под управлением учителя затянул древнееврейскую приветственную песнь. Они молча выслушали приветствие. Фрицхен повеселел и, подпрыгивая на руках своей кормилицы, храбро подтягивал. Затем выступил представитель общины, Фридман, крепкий и коренастый крестьянин, лет сорока, и произнес небольшую речь, в которой приветствовал гостей, особенно предводителей партии Литвака и Штейнека. Он говорил на русско‑еврейском диалекте.

– Черт побери! – сказал Кингскурт на ухо Давиду. – Я и не знал, что вы предводитель партии.

– Временно только, мистер Кингскурт, недели на две, не больше; это не моя профессия.

В это мгновение из толпы вышел другой крестьянин, тоже плотный человек, с загоревшим здоровым лицом. Он несколько смущенно мял шляпу в своих мозолистых руках и нетвердым голосом произнес:

– Господин Литвак, господин Штейнек, быть может, вы и мне позволите что‑нибудь сказать!

Несколько пар кулаков протянулись к неожиданному оратору:

– Нет, не надо! Менделю слова не давать!

Но Мендель упрямо отоял на своем месте, протест, по‑видимому, только усилил его решимость.

– Я буду говорить!

Поднялся шум. «Нет! нет!» – кричало большинство. Приверженцы Менделя кричали: «Да, да! пусть говорит!» – Давид поднял руку. Толпа притихла.

– Конечно, – сказал он, – пусть говорит!

Мендель с насмешливой улыбкой обратился к своим противникам:

– Видите, господин Литвак, умнее вас! Ну вот… я хотел только сказать… Фридман не говорил от имени всей общины.

Опять шум и крики: «Да! да! Он представитель общины».

Мендель невозмутимо продолжал:

– Он может приветствовать гостей, да! Это он должен делать. И он приветствовал их от имени всех жителей Нейдорфа. Мы люди вежливые. Но как предводителей партии он не может приветствовать их. У нас есть еще другая партия и это далеко не партия господина Литвака. Это все, что я хотел вам сказать, господин Литвак и господин Штейнек!

Волнение улеглось. Повидимому, многие согласились с Менделем, так как, признавая долг гостеприимства, он требовал только соблюдения принципа партийности.

– Ого! – заметил Кингскурт. – Да мы никак попали во враждебную страну.

– Во всяком случае нас здесь не съедят, – ответил архитектор. – Мы приехали сюда, чтобы обратить их. Уж я как‑нибудь справлюсь с этими мужицкиии башками… Но, ради Бога, где же моя речь! Он перерыл свой ручной сак. – Ее здесь нет! – С отчаянием заявил он.

Сара рассмеялась…

– Да, ведь, вы говорили, что она в саквояже!

– Я вспомнил сейчас, что положил ее в корзину

– Говорите тогда экспромтом! – посоветовала Мириам, лукаво улыбаясь.

Штейнек был вне себя. Его импровизации никогда не имели успееха. Вдруг толпа расступилась перед кем‑то… «Рабби Шмуль идет! Рабби Шмуль идет!» крикнули несколько человек и почтительно дали дорогу старому согбенному человеку с привлекательным кротким лицом. Он взял руку Давида в свои старческие дрожащие руки, и по той сердечности, с какой он пожал ее, сразу ясно стало, на чьей он стороне

Мириам полушопотом рассказывала гостям историю седого рабби. Он приехал в Палестину с первыми эмигрантами, когда эта цветущая равнина представляла собою безплодную пустыню, равнина Асочи, вот под теми северными холмами – одно сплошное болото, и широкая Израильская долина на юге – тоже далеко не отрадную картину. Рабби Самуэль был утешителем и духовным пастырем жителей Нейдорфа, большей частью выходцев из России, которые начали культурную борьбу с древней родною страной. Он до глубокой старости оставался сельским раввином, хотя его не раз приглашали к себе общины больших городов. Так как благодаря своей праведной мудрой жизни он пользовался широкой известностью и уважением, восточная часть колонии, где находился домик раввина, называлась садом Самуэля. И в праздничные дни, когда рабби Самуэль говорил проповеди в Нейдорфской синогоге, богомольные люди из дальних мест приходили послушать его. Представитель общины предложил гостям закусить и освежиться. На лужайке перед домом правления сооружен был на скорую руку шатер. На высоких шестах и деревьях натянули длиные полосы парусного полотна, которое вполне защищало от солнца.

Толпа направилась к шатру. Легкие подмостки служили ораторской трибуной. Перед нею стоял ряд стульев для рабби Самуэля и гостей. Затем шли ряды скамей для остальных присутствующих. Фридман говорил первым и убеждал публику не прерывать оратора, даже в случае полного несогласия с ним. Этого требует добрая слава Нейдорфа. Затем он предоставил слово архитектору. Штейнек взошел на возвышение, откашлялся несколько раз и начал, запинаясь сначала, но с каждой минутой все больше оживляясь:

– Дорогие товарищи! Со мною…гм…гм… Со мной случилось несчастье…гм…гм…в дороге. Я, видите ли…гм…гм… потерял свою речь… Я, надо вам знать, гм…гм… приготовил для вас речь. Это была…гм… прекрасная, превосходная речь. Можете мне поверить на слово, потому что все равно вы ее не услышите.

Слушатели смялись. Штейнек продолжал:

– Наша община переживает теперь гм… гм… серьезный момент. Гм…гм…я повторяю – серьезный момент.

Оратор вытер пот.

– Вам желательно, друзья мои, чтобы я развил свою мысль. Но прежде, чем остановиться на этом, гм… гм… я хотел бы напомнить вам прошлое. Что это было за прошлое… ваше, наше прошлое? Гм… Гетто!

Крики: «Верно! верно!».

– Кто вывел вас из этого гетто?.. Кто?.. Кто?..

Мендель громко ответил:

– Мы сами!

Штейнек мгновенно загорелся:

– Кто? Кто мы сами? Мендель, или кто либо другой?

Мендель опять крикнул:

– Народ!

– Прошу меня не прерывать! Впрочем, я понимаю Менделя. Народ – да!.. Конечно, народ. Гм… гм… Но народ один не мог этого сделать. Наш народ рассеян был по всему миру небольшими беспомощными группами. Надо было прежде объединить его для того, чтобы он мог сам себе помогать.

Мендель опять зашумел:

– Да, да! вожди!.. Эту сказку мы знаем.

Но тут Фридман крикнул громовым голосом:

– Молчать, сказано тебе! Прошу вас, господин Штейнек, продолжайте.

– Гм… да, я продолжаю. Вожди, говорит Мендель. И, кажется, не без иронии. Но это правда. Гм… Чем был тогда ваш Гейер, который теперь подстрекает вас? Я могу вам это сказать. Ваш доктор Гейер был тогда антисионистский раввин. Я его знал. Он был даже тогда нашим ярым противником, но отстаивал другие идеалы, совершенно другие. В одном только он остался неизменен. Я вам скажу, чем он был, чтО он и чем он будет всегда. Он всегда был, есть и будет карьеристом. Когда мы, первые сионисты, поставили себе первою целью разыскать наш народ и нашу страну, доктор Гейер нас ругал…да, доктор Гейер ругал нас глупцами и обманщиками.

Молодой крестьянин, лет двадцати пяти, подошел к трибуне и вежливым тоном заговорил:

– Извините, господин Штейнек, это невозможно. Ведь, всегда известно было, что мы евреи – народ, что Палестина – наша страна. Быть не может, чтобы доктор Гейер когда‑либо утверждал противное.

– Нет! Он это утверждал! – кипятился Штейнек. – Он отрицал существование народа и не признавал в Палестине нашу родину. Он читал слово «Сион» в священном писании и ложно его толковал своим слушателям. Под словом Сион –надо понимать не Сион, а что‑то другое! Какое угодно толкование можно, мол, придать ему, но только не настоящее, не истинное! Сион, по его мнению, был, везде, но только не в Сионе!

Несколько человек крикнули:

– Нет, нет! Гейер этого не говорил. Это невозможно!

Но в эту минуту встал рабби Самуэль. Опираясь одной дрожащей рукою на палку, он поднял другую и толпа мгновенно затихла.

– Это правда! – сказал он. – Такие раввины были. Быть может, и Гейер был таким. Я этого не знаю. Но раз Штейнек говорит, я ему верю! Такие раввины были, были…

Штейнек взволнованно и горячо продолжал:

– Проповедники «ближайшей выгоды» в то время тормозили народное дело, и этот Гейер продолжает здесь то же дело. В то время он и слушать не хотел о Палестине. Теперь он страстный поборник палестинской идеи. Он патриот, он преданный слуга своей родины, а мы льнем к иностранцам, мы плохие евреи и, пожалуй, даже чужие в его родной Палестине. Да, он желает рассорить нас с общиной. Он сеет недоверие между нами. Он благочестиво смотрит на небо и в то же время зорко высматривает ближайшую выгоду. Прежде, во времена гетто, богатые члены еврейской общины были влиятельнейшими лицами, и он говорил то, что могло быть угодным богачам. Богачи не сочувствовали национальной палестинской идее, и он излагал роль еврейства с точки зреения их буржуазных интересов. Он говорил, что еврейскому народу незачем возвращаться на родину, потому что это нарушило бы идиллическое благополучие коммерции советников и банкиров. И он и ему подобные придумали басню о миссии еврейства. Еврейство должно, мол, быть рассеянным по всему миру, чтобы поучать народы. Если бы народы и без того не презирали и ненавидели нас, они уже за одно такое наглое самомнение должны были поднять нас на смех. В действительности же, мы никого не поучали, но сами получали уроки, изо дня в день, кровавые, жестокие – пока мы не взялись за ум и не стали искать вновь в нашли выход из неволи. Ну да, тогда, конечно, и д‑р Гейер явился сюда со своии ханжеством и наглостью. А наши еврейские общины, слава Богу, не похожи на еврейские общины в Европе, у нас не богачи создают законы, а весь народ. Представительство в общинах уже не служит патентом на выгодные аферы, как в прежние времена. В представители избираются не богатые, а дельные и честные люди. При таких условиях надо, разумеется, льстить инстинктам толпы. И, следовательно, надо сочинить какую‑нибудь теорию о ближайшей выгоде народа. И вот, он начал войну против допущения в страну иностранцев. Неевреи не должны приниматься в общину. Чем меньше народу садятся за стол, тем больше достается на долю каждого. Вы думаете, быть может, что в этом ближайшая ваша выгода? Но тогда вы глубоко ошибаетесь. Страна обеднеет и придет в упадок, если вы проведете свою глупую бездушную политику. Мы стоим на том, чтобы каждый, послуживший общине честно и добросовестно два года, мог стать членом общины, какой бы, национальности и вероисповедания он не был. И я убеждаю вас не отступать от того, что создало вашу силу, от свободомыслия, веротерпимости и человеколюбия. Только при соблюдении верности этим заветам Сион останется Сионом. Вы будете выбирать делегата на конгресс. Выбирайте человека, который думает не о ближайшей выгоде, но о будущем нашей родины. Если же вы выберете гейерианца, то вы не стоите того, чтобы вас освещало солнце нашей священной страны. Да! Я все сказал, что хотел вам сказать!

Успех был невелик. Моментами оратор достигал довольно значительного впечатления на слушателей, но конец, по‑видимому, расхолодил их. Одному только слушателю понравились заключительные слова речи и он сказал это архитектору, когда тот, обливаясь потом, опустился подле него. Это был мистер Кингскурт, но у него не было права голоса в Нейдорфе.

III

– Кто еще желает говорить? – спросил Фридман, председатель собрания.

– Я! – крикнул Мендель, и одним прыжком очутился –на трибуне.

– Господин архитектор Штейнек говорил нам речь. Конечно, это была прекрасная речь – спору нет, но это была и грубая речь.

Фридман прервал его:

– Слушай, Мендель! Не смей оскорблять никого: этого я не позволяю!

Но Мендель ответил:

– Оскорблять? Кто оскорбляет?! Он нас оскорбил. Он сказал, что. мы не стоим того, чтоб нас солнце освещало. Почему мы этого не стоим? Потому что мы не хотим пустить сюда всяких проходимцев. Кто здесь трудился? Кто здесь работал в поте лица? – Мы! Кто сушил болота, рыл канавы, сажал деревья? Кто мерз здесь и бедствовал, пока достигнуто было то, что есть теперь? – Мы, мы, мы! И вдруг это все будет не наше? Ну, это еще что такое? Когда мы приехали сюда, здесь ничего не было, ничего. Теперь здесь образцовое хозяйство. Но это создано нашим потом, нашей кровью, нашим трудом. В этих умничаниях о ближайшей и продолжительной выгоде я ничего не понимаю. Быть может, вы это понимаете лучше моего? До того, что доктор Гейер раньше говорил, до того мне тоже никакого дела нет. Теперь он прав. Это я знаю! То, что мы создали своими руками, должно остаться нашим. Этого мы никому не отдадим, никому! Вот! Больше мне нечего сказать!

Несколько человек робко выразили ему свое сочувствие; очевидно, из уважения к гостям слушатели воздерживались от более шумного выражения одобрения. После Менделя на трибуну взошел Давид Литвак. Лицо его было очень серьезно. Он заговорил твердым, звучным голосом:

– Друзья мои, выслушайте меня! Вы знаете – я ваш по плоти и крови. Я работал на поле, как и вы, бок‑о‑бок с моим отцом. Я живу теперь в других условиях, но мне знакомы заботы и нужды крестьянской жизни. Я понимаю ваши опасения и тревоги, но говорю вам: Мендель не прав! Во‑первых, никто не хочет отнимать у вас что‑либо. Если бы кто‑либо на это посягнул, я до последней капли крови боролся бы за ваши права. Нет! Дело вовсе не в том. Об ограничении ваших прав и речи быть не может. Плоды трудов ваших останутся у вас и будут только умножаться. На чеку у нас совершенно другой вопрос. Мендель заблуждается. Во‑первых, он заблуждается, полагая, что все, что у нас есть, дело только ваших рук. Ваши руки трудились над этим, но не ваши головы это выдумали. Правда, вы, слава Богу, не так невежественны, как крестьяне в прежние времена, в других странах, но вы не знаете истории тех счастливых условий, в которых вы теперь живете. Что такое Нейдорф? Кто не знает истории колоний, может только изумиться, встретив по старой древнеримской дороге в Тибериаду, в Wadi Rummanc эту цветущую местность. Я выехал сегодня из дому с двумя чужеземными гостями; я с гордостью показывал им наши поля, на которых цветет теперь ячмень, наши луга и садоводства, наши зеленые сады и уютные дома; наш скот и машины, наше орошение и побежденные болота. Я говорю «наши», хотя мне лично ни одна голова скота, ни одна пядь земли не принадлежит. Все ваше. Но я чувствую себя здесь дома и могу говорить «наше». И если меня мои гости спросят: «Кто создал это здесь в короткий двадцатилетний срок?» – я отвечу, как Мендель: «Мы, мы, мы!» Да, но каким образом? Неужели мы так. просто пришли и стали работать нашими руками, как говорит Мендель? Нашими руками, непривычными дотоле к полевой работе? Как могли мы достигнуть таких результатов, какие никогда раньше не достигались? По крайней мере, они никогда не достигались до тех пор, пока немецкие протестантские крестьяне не явились сюда в конце девятнадцатого столетия и основали отдельные колонии. И мы последовали примеру этих трудолюбивейших из трудолюбивых и даже их превзошли. Как это свершилось? Правда, вы работали со всем восторженным увлечением, которым окрыляла нас, евреев, любовь к нашей святой земле. Для всех других это была безплодная почва для нас – это была наилучшая, потому что мы удобряли ее своей любовью. Наши первые знаменитые колонисты еще тридцать лет тому назад это доказали. И все же, те колонии не представляли собою мало‑мальски интересного явления, так как основаны были на ложных принципах. Со всеми своими новейшими машинами, они все же могли повторить только тип старой деревни. У вас же новейший тип деревни, и это дело не одних только ваших рук, друзья мои. Если я скажу вам, что Нейдорф создался вовсе не в Палестине, а в другом месте, вы примете слова мои за шутку. Нейдорф создался в Англии, Америке, Франции и Германии. Он создался из книг, из опыта и грез. Неудачные опыты разных деятелей и мечтателей сослужили вам великую службу. Вы этого вовсе не знаете. И раньше были крестьяне, не менее трудолюбивые, чем вы, но труды их были безуспешны, Крестьянин старого типа не знал своей собственной земли, он не знал, что содержит в себе его земля, так как представления не имел о том, что ком земли можно подвергнуть химическому исследованию. Он обливался потом, тратил больше сил, чем нужно было, не умея выбрать ни подходящего места, ни подходящих средств. Труд прежних крестьян не мог быть производителен, как ваш труд, потому что он жил, как в тумане. Если ему нужен был кредит для разных улучшений, он входил в долги, отягощавшиеся процентами, и наилучший урожай уже на корню был собственностью его кредиторов. Поля его не были застрахованы ни от града, ни от вредных насекомых. Создать искусственное орошение и осушение своей земли он, разумеется, бессилен был один. При недороде он впадал в нищету, и хороший урожай его не обогащал, потому что он не мог найти рынок для сбыта. У него было или слишком много, или слишком мало рабочих сил. Он не имел возможности учить своих голодных детей, и они вырастали в такой же темноте, в таком же невежестве, как он и его предки. И когда появлялись новые пути сообщения, то казалось, что они все придуманы были только на погибель старых крестьян. Крупных землевладельцев машины обогащали, мелкие же еще более беднели. Явилось новое рабство. Свободный крестьянин надевал ярмо зависимости от помещика, а его дети уходили в фабричнуную неволю. Обнищание крестьянства было для старого общества самым серьезным и грозным симптомом надвигающейся опасности. Люди, преданные своей родине, очень скорбели об этом, изучали историю, трудились и придумывали средства, чтобы предотвратить общий экономический кризис. На помощь призывался многовековой опыт, наука. Все сознавали, что в эпоху машин условия человеческого существования зависят от познания природных сил и победы над ними. Девятнадцатый век был несчастной эпохой в истории человечества. В начале этого замечательного века верили безумным фантазерам и практических изобретателей считали сумасшедшими. Великий Наполеон не верил в полезность парового судна Фультона. Стефенсон и Табэт, икарийский мечтатель – были современники. Я мог бы привести вам еще много имен, которых вы никогда еще, быть может, не слыхали…

Все спокойно и внимательно слушали это вступление, имеевшее скорее характер лекции, чем народной речи. Но Мендель воспользовался минутной паузой, которую сделал Давид и, встав, вежливо и громко сказал:

– К делу, пожалуйста! Какое отношение это имеет к Нейдорфу?

Давид спокойно ответил:

– Это вы увидите из моих дальнейших слов, друзья мои…Каждой новой машине в этом удивительном девятнадцатом веке являлась навстречу новая социалистическая мечта. Это столетие всегда представлялось мне огромной фабрикой, в которой колесами, винтами, поршнями служили несчастные люди. Из фабричных труб поднимались к синему небу дымные облака. Но эти расплывчатые, причудливые и неуловимые по очертаниям облака олицетворяли собою пленительные упования социалистов на будущее. И когда люди с тоскою смотрели на небо, они видели не прежнюю бездонную лазурь, а дымное серое небо будущей страны. Но были и более светлые облачка, как, например, знаменитое облако американца Беллами, который в своей книге «Через сто лет» – изобразил благородную идеальную коммуну. Там каждый может есть из общей чаши столько, сколько ему угодно. Там волк пасется бок о бок с овцой. Это прекрасно, это упоительно. Но тогда волки перестанут быть волками и люди – людьми. После Беллами явился романтик Герцка и написал свою утопию «Страна будущего», блестящую волшебную вещицу, напоминающую бездонную шляпу фокусника. Это были прекрасные мечты или, если хотите, воздушные замки, потому что гуманные авторы этих интересных трудов все одинаково заблуждались. Образованнейшие из вас – я знаю, что и в Нейдорфе, как тридцать лет назад в Катра, есть образованные крестьяне – поймут меня, если я скажу, что авторы этих утопий совершали pehtio principu. Они говорили только о том, что требовало еще доказательств, а именно: что у людей была уже зрелость и свобода суждений, необходимые для создания нового государственного строя. Они, быть может, не сознавали этого и они только не могли найти той точки, на которой Архимед хотел поставить свой рычаг. Они полагали, что машина – это самое необходимое, чтобы создать что‑нибудь новое. Нет, для этого нужна только сила, всегда, во все времена только сила. Конечно, если я обладаю силой, я, при подспорьи новейших изобретений, наилучшим образом использую машинное производство. Мы обладали этой силой. Что нам дало ее? Нам дал ее жестокий повсеместный гнет, нам дали ее преследования, нам дала ее нужда. Это собрало рассеянных по всему миру и скрепило в союз. Потому что среди них были не только бедняки, но и богачи; не только юноши, но и старики; не только энтузиасты, но и образованные деятели; не только сильные руки, но и мыслящие головы. Народ, целый народ собрался, вернее, собрался вновь. И мы создали новую общину не потому, чтобы мы были лучшими людьми, но потому что мы были людьми с обыкновенными человеческими потребностями воздуха и света, здоровья и чести, свободы и спокойствия. И так как мы первым делом должны были строиться, то мы, разумеется, построили новейшие дома, а не подражали типам построек 1800 или 1600 года. Все это вполне ясно и понятно. В этом нет большой заслуги, мы ничего необыкновенного не совершили, мы делали только то, что в наших условиях было исторической необходимостью.

Запас терпения у Менделя снова истощился и он закричал:

– К делу, к делу!

– Я скоро кончу, – мягко ответил Давид. – Я хочу только описать начало нашей государственной жизни. Она невозможна была бы без того огромного социально‑политического труда, сделанного в 19‑м столетии. Многие евреи принимали участие в этом труде, но не одни только евреи. И то, что явилось плодом общих соединенных усилий, ни один народ не может считать своей собственностью. Люди, благодарные или любознательные, вероятно, пожелают узнать что‑либо о пионерах на этом счастливом пути. Пальма первенства принадлежит англо‑саксонской расе, потому что у англичан мы нашли самые совершенные в то время формы жизни, которые мы приняли и развили. Немецкая наука тоже сослужила нам большую службу. Кто желает получить более обстоятельные сведения, тому я советую прочитать историю кооперации в Англии, Германии и Франции.

Один молодой крестьянин высоко поднял руку, заявляя тем о своем желании говорить. Фридман заметил этот жест и громко спросил:

– Что скажешь, Яков?

Юноша покраснел, по‑видимому, испугавшись своей смелости, и скромно ответил:

– Я хотел только сказать господину Литваку, что у нас в библиотеке есть история пионеров Рогдаля.

– Дайте ее прочитать Менделю, – ответил Давид. – Это прекрасная поучительная книга. Отважные рогдальские пионеры, как их называли, много сделали для вас, т.е. они сделали много для человечества, хотя они думали только о себе. Тем, что вы имееете возможность получать в ваших потребительных обществах наилучшие товары по самым низким ценам, вы обязаны рогдальским пионерам. Если ваш Нейдорф представляет собою теперь цветущую сельскохозяйственную производительную артель, то вы обязаны бедным мученикам из Рахалины в Ирландии. Они тоже не сознавали, какое великое мировое дело они совершали, когда они в 18З1 году, при помощи своего помещика, мистера Вандалера, основали первую новую деревню в мире. Да, прошло много десятилетий, пока ученейшие и умнейшие поняли идею Рахалина. Рогдаль со своими потребительными обществами гораздо скорее был оценен, чем рахалинская деревня на артельных началах. Когда мы основывали нашу Новую общину, мы, разумеется, ввели у себя тип новой деревни. Здесь, в Нейдорфе, нет ничего такого, чего не было уже в Рахалине. Вся разница том, что вместо мистера Вандалера стоит огромный союз, членами которого состоите и вы, а именно – Новая община.

Молодой крестьянин опять поднял руку. И когда оратор удивленно замолк, он тихо и скромно сказал:

– Не расскажете ли вы нам, господин Литвак историю о Рахалине и Вандалере?

– С удовольствием, друзья мои!.. В то время Ирландия была бедная страна с несчастным населением. Фермеры были полунищие, доходили даже до воровства и убийства. Но был один помещик, которого звали Вандалер, Его фермеры были самые безпокойные, распущенные в стране люди. В начале 1831‑го года бедствие было очень велико. Поселяне из нужды совершили несколько ужасных преступлений. У мистера Вандалера был управляющий, которого рабочие ненавидели за его строгость; при одном столкновении он был убит ими. Что же сделал Вандалер? Нечто великое. Ему пришла в голову сверхчеловеческая мысль: не наказывать, не мстить, а сделать людям добро. Он созвал ожесточенных, измученных нуждою крестьян, соединил их в одну рабочую артель и отдал артели свое имение Рахалину в аренду. Цель этого союза состояла в том, чтобы они пользовались общим капиталом, поддерживали друг друга, жили в лучших условиях и прилично воспитывали своих детей. Хозяйственные принадлежности до тех пор должны были составлять собственность мистера Вандалера, пока артель выплатила бы стоимость ее. Для этого артель должна была свои чистые доходы вносить в запасной фонд. Артель имела собственное управление. Члены выбирали комитет из девяти человек.. Каждый из них заведывал особым отделом: один – сельским хозяйством другой – промышленностью, третий – торговлей, четвертый – воспитанием детей и т. д. Ежедневные работы распределялись комитетом. Работать обязан был каждый, соразмерно своим силам. Рабочая

плата, которую члены получали от артели, была очень скромная, причем из нее еще вычитывался известный процент на больничный фонд и пр. Они как будто были поденными рабочими фермера, но фермером они были сами. Мистер Вандалер оставил только за собою право высшего надзора за своим опытом. И опыт удивительно удался. Не говоря уже о том, что доходы у мистера Вандалера значительно увеличились, рабочие, жившие дотоле в огромной нужде, стали вдруг обогащаться точно по мановению волшебного жезла. Они работали с увлечением и успехом. Сознание, что они работали для себя, окрыляло их могучею силой. Те же рахалинские рабочие, которые убили своего фохта, без надсмотрщиков быстро и успешно справляли самые тяжелые работы. Они друг за другом присматривали. О ловкости и трудолюбии каждого рабочего велась запись, и в конце недели каждый получал то, что он действительно заслужил. Никакого равенства в заработке! Трудолюбивому больше, ленивому меньше!

– Браво! – крикнул кто‑то в толпе, и несколько человек рассмеялось. Давид продолжал:

– Скоро установлено было, что рахалинские рабочие средним числом работают вдвое больше, чем рабочий из окрестных местностей. Между тем это была та же самая земля, те же люди, но они нашли спасительные средства: сельскохозяйственную производительную артель. Рабочая плата выдавалась не деньгами, а марками, которые имели меновую ценность в рахалинском магазине. Но все, что им нужно было, они получали в своем магазине, который тоже принадлежал артели. В магазине имелись товары лучшего качества по оптовым ценам. Историки пишут, что рахалинские жители получали в своем магазине все на пятьдесят процентов дешевле, чем в других магазинах. Каждый член артели был всегда уверен в заработке, а следовательно, в хлебе и в теплом угле. Инвалиды и больные получали поддержку и уход. По смерти отца артель принимала на себя заботы о его детях. Впрочем, я не стану излагать вам то, что вы можете узнать из книг. Я лучше пошлю вам для вашей библиотеки книги Веб‑Потеро, Оппенгеймера, Леферта, Губера и других авторов.

Молодой крестьянин опять решился вставить вопрос:

– Господин Литвак, что же стало с Рахалиной?

Давид ответил:

– В течение двух лет Рахалина достигла цветущего состояния. Жилища и мебель, пища, платья, образ жизни и воспиташе детей говорили о достатке и благосостоянии здоровых, сытых людей. Ежегодные доходы превышали уже арендную плату, и рахалинская артель через несколько лет, вероятно, стала бы собственностью имения, если бы мистер Вандалер сам не погубил свое дело. Вандалер потерял все свое состояние за игорным столом в Дублине и бежал в Америку. Его кредиторы продали Рахалину, артель разогнали и блаженный остров опять потонул в море нужды. Но пример рахалинской артели не прошел бесследно, он был оценен в науке. И когда мы опять привели наш народ, в дорогую родину, мы основали тысячи таких Рахалин. Один Вандалер, разумеется, не в силах был сделать это: для этого нужно было могучее собирательное лицо. И это собирательное лицо – ваша Новая община. Она – ваш помещик, она дала вам землю и машины и ей вы обязаны теперешним благосостояшем. Но и Новая община не сама это сочинила, не основатели ее, не народные вожди это придумали. Новая община зиждется на идеях, составляющих общее духовное достояние всех культурных народов. Вы поняли меня, наконец, друзья мои? С нашей стороны было безнравственно отказывать человеку, откуда бы он ни явился, какой бы национальности, какого бы вероисповедания он ни был – в участии в нашей успешной работе, потому что мы воспользовались знанием и опытом всех культурных народов. И если кто‑нибудь к нам примыкает, признает наш государственный строй, принимает на себя общественные обязанности, то он пользуется и нашими правами. Всем, чем мы обладаем, мы обязаны работникам, предшествовавшим нам и, поэтому, мы обязаны выплатить наш долг. А для этого есть один только путь: полнейшая терпимость. Нашим девизом должно быть теперь и всегда: человек, ты брат мой!

Старый рабби Самуель встал и дрожащими руками захлопал оратору. Толпа последовала его примеру и устроила Давиду шумную овацио. Литвак хотел уже сойти с трибуны, когда Мендель громко крикнул:

– Тогда иностранцы отнимут у нас наш хлеб! Давид остановился и жестом дал понять толпе, что желает еще говорить.

– Нет, Мендель, нет! Вы ошибаетесь! Вновь прибывающие не отнимают у вас хлеб, но обогащают вас. Богатство страны составляют его рабочие силы, – это вы уже знаете. Чем больше будет рабочих, тем больше будет хлеба, при том справедливом и нормальном общественном строе, который существует у нас. Конечно, вы не отдадите новым эмигрантам ни ваших плодородных полей, ни ваших завоеванных прав. Но если для Нейдорфа желательно, чтобы кругом него появлялись новые колонии, то это желательно для всей страны. Каждый должен создать достаток, которым он желал бы пользоваться, и чем больше у нас будет возделанных земель, чем шире будет промышленность, тем богаче мы будем. Старший из вас, сам принимавший участие в основании Нейдорфа знает это по собственному опыту. Вначале здесь было не более двадцати семейств. Ну, скажите мне, разве плохо было для них, когда явились сюда еще тридцать, еще пятьдесят, еще сто семейств! Я спрашиваю: первые поселенцы разбогатели или обеднели от этого?

Слушатели, теперь только понявшие смысл его речи, ответили бурными восторженными криками:

– Литвак прав! Теперь всем лучше живется, лучше, лучше!..

Давид закончил:

– Вот вам мой ответ. Чем больше у нас будет людей, желающих работать, тем лучше будет для всех. Поэтому, не только из любви к ближнему вы должны говорить: «человек, ты брат мой»! – но также из корыстных соображений. Человек, брат! Добро пожаловать! Старшие из вас знают, как пустынна и печальна была эта местность двадцать, лет тому назад. Первые поселенцы получили наилучшую землю. Следующие получили землю похуже и сделали ее хорошей. Каменистая почва отала плодородной, болота осушали, потому что на границе цветущей колонии и плохая земля имеет притягательную силу. Теперь Нейдорф представляет собою один огромный сад, один большой великолепный сад, в котором легко и радостно живется. Но все ваши колонии ничего не стоют, и они погибнут, если вы нарушите принципы веротерпимости, великодушия и человеколюбия. Вы должны лелеять их и холить, и свет их будет озарять вашу жизнь. И так как я уверен в вас и жду от вас, я говорю: да здравствует, да здравствует, да здравствует Нейдорф!

Восторг слушателей переходил в экстаз.

– Да здравствует Литвак! Да здравствует Нейдорф! – кричали мужчины и женщины.

Они подняли на плечи оратора, который смеялся и тщетно сопротивлялся, и обнесли его вокруг трибуны.

В этот день доктор Гейер потерял все голоса в Нейдорфе.

IV

Путешественники осмотрели затем образцовые сельскохозяйственные заведения Нейдорфа. Мистер Кингскурт особенно интересовался химической лабораторией и складом земледельческих орудий. Левенберг дольше оставался в народной школе и в библиотеке с богатыми научно‑популярными трудами. Мириам, бывшая в курсе дела в качестве учительницы, давала ему подробные объяснения. Но по мере того, как он узнавал о прекрасных и полезных нововведенияx в деле духовного и физичеокого воспитания подрастающей молодежи, его радостное удивление постепенно сменялось печалью. Он глубоко вздохнул.

– Что с вами, доктор? – участливо спросила Мириам.

– Мне очень тяжело, фрейлейн Мириам. Я вижу, что я не исполнил священного своего долга. Я мог работать, содействовать этому великому делу народного возрождения. Я был образованный человек и должен был понять тогдашнее брожение в евройстве. Но я был занят своим личным горем; я бежал от жизни. Я провел двадцать лет в позорном бездействии. Я сказать вам не могу, как тяжело мне на душе. Мне стыдно.

Она хотела было утешить его.

– Нет, фрейлейн Мириам! Не пытайтесь утешать меня. Ваши слова не могут быть искренни, потому что ни одна минута вашей жизни не пропала бесплодно. Вы из сострадания, разве, можете меня утешать. Мне стыдно моей бездеятельности, моего эгоизма. Образованный еврей моего времени обязан был работать для своего народа. Я позорно бежал от этого долга. Сожалейте меня, фрейлейн Мириам! По крайней мере, не презирайте меня!

– Презирать! Что с вами, доктор? – мягко ответила она. – Презирать вас, благодетеля нашей семьи?

– Ах, пожалуйста, не говорите об этом, – сказал он – Вы только унижаете меня своей похвалой. Я прекрасно понимаю, что никакой похвалы не заслуживаю. Есть известный долг у людей интеллигентных, как в давние времена noblesse oblige. Долг каждого интеллигентного человека содействовать по мере сил своих совершенствованию человечества. При всей вашей доброте, фрейлейн Мириам, вы не можете убедить меня в том, что мне не в чем упрекать себя.

– Но разве теперь поздно? – ответила она. – Вы можете еще поступить в Новую общину и стать полезнейшим членом. Мы искренне рады новым рабочим силам. Вы слышали это уже от моего брата. И как охотно приняли бы вас!

– В самом деле, фрейлейн Мириам? – сказал он с радостным волнением. –Теперь еще не поздно? Я мог бы еще быть полезным человеком?

– Конечно! – ответила она с улыбкой.

В нем вспыхнули, как зарницы, светлые надежды. Он почувствовал себя вдруг помолодевшим. Перед ним заалела заря новой жизни. Но в то же мгновение лицо его омрачилось тенью тяжелого воспоминания, и он опять тяжело вздохнул.

– Ах нет, фрейлейн Мириам! Это было бы слишком хорошо, но я не располагаю собой, я не могу остаться здесь. Я не свободен.

Мириам едва заметно побледнела и спросила едва уловимо‑дрожавшим голосом:

– Вы не свободны?

– Нет! Я на веки связан с другим человеком.

Она беззвучно сказала:

– Можно спросить, кто это?

– Мистер Кингскурт!

Я он рассказал ей о своих отношениях к старику. Он обязался честным словом никогда его не оставлять. И он может, следовательно, оставаться в Палестине до тех пор, пока любопытство Кингскурта не будет совсем удовлетворено. Лицо Мириам прояснилось. Она спросила:

– А если мистер Кингскурт вернет вам ваше слово?

– Он этого не сделает, если я его об этом не попрошу. Даже одна такая просьба была бы изменой и неблагодарностью в отношении этого милого человека. У меня нет лучшего друга на свете, и у него нет никого, кроме меня. Что с ним будет, если я оставлю его?

– Он тоже останется у нас, – сказала Мириам. Но Фридрих, насколько он знал старика, считал это совершенно невозможным. В лучшем случае Кингскурт будет ездить по стране еще дня два, или даже недели две, осматривать достопримечательности, но затем, несомненно, отправится дальше в Европу.

Между тем остальные спутники окончили осмотр Нейдорфа. В доме представителя общины Фридмана гостям был предложен скромный завтрак. Они довольно долго сидели за столом, но время прошло незаметно в разговорах о прошлом и будущем Нейдорфа. Большинство поселян, тотчас после собрания, вернулись домой или к прерванной работе. Лишь небольшая группа крестьян, живших в самом центре Нейдорфа, перед отъездом гостей опять собралась вокруг автомобиля и долго махала вслед отъезжавшим гостям шляпами и платками.

Направо и налево дороги тянулись прекрасно возделанные поля, винные и табачные плантации, садоводства. На всем пространстве не было ни одной пяди необработанной земли. Вдали, на клеверном поле, двигалась косилка. Время от времени мимо них проезжали огромные возы с свежим душистым сеном. Мириам объясняла непосвященному в дело Фридриху естественные и экономические условия местности, через которую они проезжали. Здесь и там уже цвели яровые поля, маис и кунджут, чечевица и горох.

По паровым землям ходили электрические плуги и вспахивали еще чуть влажную после зимы почву, подготовляя ее для ближайшего зимнего посева. Табак уже высоко поднялся над землею, и крестьяне заботливо вырывали один из двух ростков, которые предусмотрительно сажаются один подде другого. Хмель уже был в полном цвету, и поселяне подпирали лозы сучьями эвкалипта; другие пользовались для той же цели проволоками. Те, которые подпирали лозы сучьями эвкалипта, не подрезали ветвей для того, чтобы хмель мог пышнее переплетаться и имел защиту от солнца. Архитектор Штейнек вмешался в разговор и пропел хвалебный гимн эвкалипту, этому великолепному австралийскому дереву, которое в несметных количествах и безчисленных видах привезено было в Палестину, когда там началась культурная правильная работа. Без эвкалипта, который, помимо своей красоты, во многих отношениях чрезвычайно полезное дерево и с волшебной быстротой осушает болота, – без этого эвкалипта, быть может, и сделать ничего нельзя было бы и, наверное, не удалось бы достигнуть таких быстрых блестящих результатов.

– Да, да, – шутливым тоном сказала Сара – Штейнек из благодарности даже увековечил эвкалипт. Его излюбленные орнаменты на домах это – ствол и ветви эвкалипта.

Настроение у всех было приподнятое, радостное. Был чудесный весений день. На лугах пестрели ковры цветов, здесь были тюльпаны и незабудки, и лилии, и великолепные орхидеи. Местами росли на полях разбросанными группами миндальные и шелковичные деревья.

Дорога пошла романтичным ущельем. По обеим сторонам громоздились скалы с зияющими пещерами, в которых скрывались когда то от врагов защитники еврейского народа. Давид несколькими грустными словами напомнил это давно‑минувшее время.

Дорога обогнула темные каменные горы, и перед ними внезапно развернулась залитая солнцем прелестная Генисаретская долина и Генисаретокое озеро. Фридрих не мог удержать крика восторга при виде этой неожиданной дивной картины.

По зеркальной глади озера скользили большие и малые судна, оставляя за собою светящиеся борозды. Паруса нежно белвли, как крылья чаек, а медные части электрических лодок ярко сверкали на солнце.

По ту сторону озера, светлели на лесистых холмах хорошенькие виллы. На том берегу, которым они ехали, расположен был новенький нарядный городок Магдала, весь потонувший в пышной душистой зелени. Но они, не останавливаясь, спешили дальше, по направлению к Тибериаде. Они видели перед собою картины счастливой богатой жизни, напоминавшие блестящие сезоны в Канне, в Ницце. Мимо них проносились элегантные модные экипажи, автомобили, велосипедисты, всадники, и на гладкой панели вдоль берега гуляла нарядная оживленная толпа. Это была интернациональная публика какого‑нибудь модного европейского курорта. Давид объяснил своим гостям, что Тибериада, благодаря своим целебным горячим источникам и живописному местоположению, стала излюбленным местом многих европейских и американских богачей, искавших прежде вечного солнца и тепла в Сицилии или в Египте. Как только в Тибериаде выстроены были хорошие отели, сюда тотчас хлынули иностранцы. Ловкие швейцарцы первые оценили климатические преимущества этой местности, понастроили отели и нажили состояния.

Автомобиль в эту минуту проезжал мимо одного из этих отелей. На балконе сидели дамы и мужчины и любовались пестрым оживлением на улицах и видом сверкающего озера. На лужайках за отелями юноши и девушки в белых платьях играли в лаун‑теннис. На террасах играла музыка, венгерские, румынские и неаполитанские хоры в национальных костюмах. Проезжая Тибериаду с севера на юг, путешественники восхищались чистыми широкими площадями и улицами, изящными зданиями и пестрой шумной гаванью. Они видели по дороге стройные мечети, церкви с латинскими и греческими крестами, и великолепные каменные синогоги. Достигнув южной части города, они несколько минут ехали меж двумя рядами вилл и отелей, окруженных густыми роскошными садами.

Наконец, автомобиль остановился у ворот прелестной дачи, обвитой со всех сторон диким виноградом.

– Мы приехали! – сказал Давид, выходя из экипажа.

Калитка открылась. На улицу вышел седой господин и, приветствуя гостей, спросил дрожащим от радости голосом:

– Где он, Давид, где он?

Левенберг не мог притти в себя от волнения. Его ждали здесь с нетерпением и встречали с восторгом. Давид еще накануне сообщил старикам по телефону, какого гостя он им везет.

И этот благообразный, приветливый, крепкий старик – тот самый несчастный разносчик, которому Фридрих хотел когда‑то подать милостыню в венской кофейне! Какая удивительная, какая волшебная перемена! Но она свершилась самым естественным путем. Литваки были одними из первых эмигрантов, которые вынесли на своих плечах первую труднейшую борьбу с дикой некультурной страной. Теперь они пожинали плоды своих трудов.

Но в семье было и горе. Мать Давида и Мириам страдала тяжкой неизлечимой болезнью. Фридриха тотчас же повели к ней. Она лежала в кресле на веранде, с которой открывался чарующий вид на Генисаретское озеро. Она протянула Левенбергу свою худую желтую руку, и ее страдальческие глаза с бесконечной благодарностью смотрели на него.

– Да, да, доктор, – сказала она после первого приветствия, – Тибериада хороша и озеро хорошо, но сюда надо приезжать пока еще не поздно. Я приехала поздно, поздно…

Мириам стояла подле нее и ласково водила рукой по ее волосам.

– Мамочка, – говорила она, – ты поправилась с тех пор, как ты здесь. Тебе лечение пошло впрок. Ты это почувствуешь лишь тогда, когда вернешься домой.

Госпожа Литвак грустно улыбнулась:

– Дитя мое, конечно, конечно, мне хорошо… Я точно в раю. Поглядите, доктор, что я вижу перед собой… Разве это не рай?..

Фридрих подошел к баллюстраде веранды и посмотрел в даль. Озеро отливало светлой лазурью, в которой отражались длинными тенями крутые уступы Джалана. На севере озеро сливалось с Иорданом, за которым гордо выступал покрытый снегами Гермон. Левее, зеленой бархатной лентой тянулись берега, светлыми пятнами врезались в побережье маленькие бухты, и, словно драгоценная игрушка, играл и блестел городок Тибериада. И везде, со всех сторон зелень и цветы, наполнявшие воздух упоительным ароматом.

– Да, это рай – тихо проговорил Фридрих и, когда Мириам подошла, он сильно схватил ее руку и пожал ее, словно благодаря ее за то, что жизнь еще так хороша.

Больная смотрела на них с своего кресла. И материнское сердце дрогнуло смутным радостным предчувствием.

– Дети! – беззвучно прошептала она и забылась в пленительных для нее счастливых мечтах. V

В маленькой вилле, которую старые Литваки наняли на время лечебного сезона, гости поместиться не могли. Только Мириам осталась у своих родителей. Для себя и своих друзей Литвак заказал комнаты в отеле, подле бальнеологических заведений. Багаж их доставлен был еще до их приезда. И когда они, простившись со стариками, ушли в отель, чтобы переодеться, их уже ожидали комнаты, обставленные с полным комфортом и удобствами. В гостиной отеля их встретили двое мужчин и одна пожилая дама. Давид познакомил с ними своих гостей. Дама была еврейка из Америки, мистрисс Готланд. В ней было какое‑то неотразимое очарование, и лучистое доброе лицо, под белоснежными волосами еще полно было молодой прелести. Из двух мужчин один, в черном, длинном сюртуке, был английский иерусалимский пастор. У него была длинная, белая борода патриарха, голубые мечтательные глаза и, к великому удивлению Кингскурта, он нисколько не обиделся, когда тот его принял за еврея. Второй был брат архитектора, бактериолог, профессор Штейнек. Веселый, живой, рассеянный человек, который говорил всегда так громко, точно излагал какую‑то теорию о микробах перед аудиторией глухих. При встрече с братом он обыкновенно после первых приветствий вступал в ожесточенный спор с ним. Так было и теперь. Архитектор Штейнек предложил гостям посмотреть институт Штейнека с его знаменитыми лабораториями. Но профессор решительно воспротивился этому:

– Что за фантазия? Там нечего смотреть. И труда не стоит. Большой дом, много комнат и много морских свинок, и в каждой комнате стоит человек и производит опыты. Вот и все. Поняли? Брат мой всегда ставит меня в смешное положение. Мистрисс Готланд улыбнулась.

– Да все равно никто вам не поверит; ваш институт известен, как достопримечательность.

Профессор Штейнек расхохотался.

– Ах, Господи! Да что вы желаете видеть – микробов? Поймите же: да в том и особенность микробов, что их видеть нельзя, т. е. простым глазом. Достопримечательности, нечего сказать. И, откровенно говоря, я в микробов не верю, хотя и воюю с ними. Поняли?

– Нет – смеясь ответил Кингскурт: – ни слова. Это, повидимому, нечто в роде химической кухни. Что же вы там стряпаете, профессор?

Бактериолог предупредительно ответил:

– Чуму, холеру, дифтерит, туберкулез, родильную горячку, малярию, бешенство…

– Тьфу, черт побери!

– Вернее, средства борьбы с этими врагами человечества, – сказала мистрисс Готланд. – Мы его спрашивать не будем, и без него пойдем. Выдадим себя за знатных иностранцев, и нам там все покажут.

– Ну, ну ладно. Так и быть – пойду с вами! – крикнул профессор – Еще нападете на какого‑нибудь дурака ассистента, который покажет вам стрептококка и скажет вам, что это холерная бацила. Поняли?

– Ни слова! – ответил Кингскурт. Компания рассыпалась. Архитектор привез для мистера Гопкинса планы новой английской больницы, которую решено было выстроить близ Иерусалима. Сарра хотела первым делом выкупать Фритца. Давид извинился перед гостями и отправился в францисканский монастырь за патером Игнатием, который тоже был приглашен на вечернее торжество. Все условились встретиться вечером на вилле старого Литвака. Мистрисс Готланд, Фридрих, Кингскурт, Решид‑бей и профессор поехали в бактериологический институт, находившийся в четверти часа езды от отеля, на южном берегу озера. Это было небольшое строгое здание, упиравшееся одним фасадом в зеленый холм. Профессор Штейнек сказал своим посетителям:

– Нам большого здания и не надо: микробы много места не занимают. А стойла находятся вот в этих пристройках. У нас много лошадей и других животных. Вы понимаете?

– Ага, вы много выезжаете? – спросил Кингскурт. – Понимаю, понимаю… конечно, в такой чудесной местности…

– Да при чем тут местность? – удивился профессор Штейнек. – Мне нужны лошади, и ослы, и собаки, словом, весь этот зверинец для добывания сыворотки. Мои конюшни тянутся вот до фабрики, где добывается очищенный воздух.

– Что‑о?! – воскликнул Кингскурт. – Почтеннейший отравитель животных, вы, кажется, желаете убедить меня, что здесь фабрикуется воздух? У вас, кажется, воздуху довольно и, кажется, даже воздух самого отменного качества.

– Но я говорю о газах, мистер Кингскурт. Вы понимаете?

– О, да, это я понимаю. Об этом я слышал еще, когда я уехал из Америки, лет двадцать тому назад.

– А в производстве льда мы пользуемся даже широкой известностью, нам нужно много льду потому, что у нас жаркая теплая страна. По крайней мере, здесь и на всем побережье Иордана круглый год довольно тепло, и мы много стараний положили на усовершенствование производства льда. Вы понимаете? Самые лучшие печи бывают обыкновенно в холодных странах. Мы же должны заботиться о запасах льда на жаркие месяца. Если вы, например, в это жаркое время войдете в любой дом среднего достатка, вы увидите посреди комнаты глыбу льда. Кто в состоянии платить побольше, приобретает букет во льду и ставит его на стол.

– Знаю, знаю, – сказал Кингскурт, – эту штуку со свежими цветами в ледяной глыбе показывали еще на Парижской выставке в 1900 году.

– Да я ничего нового и не хотел вам сообщить. Мы использовали и применили к жизни все, что существовало уже раньше. У нас лед – насущная потребность, и, благодаря конкуренции, добывается за баснословно дешевую цену. Люди среднего достатка не могут уезжать на лето в Ливанские горы. То же самое было в Европе. Люди богатые уезжали в горы, а небогатые томились летом в душных городах. Мы же научились сделать пребывание приятным везде и для всех. Вы понимаете? Благодаря энергичным предпринимателям и множеству знающих молодых техников, мы развили в нашей стране все производства. И как было не ухватиться за это, раз это выгодно? В нашей стране таились сокровища, над которыми стоило потрудиться. Химическое производство развилось раньше других. Вы изучали химию в каком‑нибудь университете в прошедшем столетии, мистер Кингскурт?

– Нет, к прискорбию…

– Жаль. Тогда вы, вероятно, знали бы, что уже тогда в ученых кругах понимали значение Палестины. Вот Решид‑бей получил в Германии степень доктора химии и может вам сообщить по этому поводу много интересного.

Решид‑бей скромно сказал:

– Вы меня ставите в очень неловкое положение, профессор, заставляя говорить в вашем присутствии о науке. Впрочем, двадцать лет тому назад каждый студент‑химик знал уже, что Палестина заключает в себе непочатые сокровища. О природных богатствах Иорданской долины и побережья Мертвого моря говорилось даже в учебниках. Один немецкий химик писал в конце прошедшего столетия о Мертвом море: «Это самое низменное из всех морей представляет единственную по своей конденсации соляную массу и выделяет огромное количество асфальта.» Когда вы ознакомитесь с применением водяных сил в Палестине, вы узнаете, как мы использовали разницу в уровне между Мертвым морем и Средиземным. Но к этому мы еще вернемся. Могу вам только сказать, что вода Мертвого моря почти в такой же степени насыщена солью, как Штассфуртское озеро. Вы, вероятно, слышали о Штассфуртских соляных вещах, наводнявших европейские рынки. У нас вдоль побережья Мертвого моря это производотво и шире и значительнее…

– Прямо, невероятно! – воскликнул Кингскурт.

– Нисколько, – сказал, улыбаясь, Решид‑бей, – это вполне естественно; наши воды богаче всех вод в мире. Положительно вспоминаются старые сказки, в которых говорится о кладе, лежавшем на дне морском. Дети думают, что такой клад состоит из золотых монет, жемчужных ожерельев, драгоценных камней. Но вода Мертвого моря то же золото. Количество брома, заключающееся в этой воде, нигде больше не повторяется в такой степени. Вы знаете, ведь, как высоко ценится бром. И чего только еще мы не добываем в этой плодоноснейшей местности Палестины, бывшей раньше мертвой пустыней! В Иорданской долине и вдоль Мертвого моря имеются залежи смолистой извести, из которой делается признанный всеми лучший в мире асфальт. Немецкий химик Эльшнер давно еще писал, что геологические строения нашей почвы указывают на присутствие нефти. И действительно, до нее докопались. Кроме того, у нас имеются несметные массы серы и фосфорита. Значение фосфорита для удобрения почвы вам, конечно, известно. Наши фосфориты успешно конкурируют с тунисскими и алжирскими, причем добывание их гораздо дешевле, чем добывание, например, фосфоритов в американской Флориде. Благодаря дешевизне искусственных способов удобрения, и возможен был у нас такой пышный расцвет сельского хозяйства… Но я боюсь, что мистрисс Готланд, наконец, соскучится, слушая наши сухие разговоры.

– Нисколько, нисколько, – любезно успокоила она его.

– В современной жизни, – добавил профессор, – между промышленностью и сельским хозяйством существует тесная связь. Вы понимаете? Это неизбежно. Раз налицо предприимчивость и знание, то должна непременно создаться тесная связь между промышленностью и сельским хозяйством. Вот я, например, как будто только ученый колпак, а между тем я работаю тоже для промышленности и сельского хозяйства.

– Не могли бы вы мне объяснить это точней? – сказал Кингскурт.

– С удовольствием ответил Штейнек. – Бактериологам давно уже известно было, что вкус разных сыров и аромат табака зависит от микроорганизмов, с которыми я все вот вожусь. И мы в этом институте постарались создать целую культуру этих маленьких созданий и продаем их сыроварам и табачным плантаторам. Наши сыры соперничают теперь с лучшими швейцарскими и французскими сырами, а в теплой Иорданской долине разводится табак, нисколько не уступающий гаванским сортам.

Я он повел своих гостей в лаборатории заведения, построенного по образцу парижского института Пастера. Многочисленные ассистенты невозмутимо продолжали работать и, вежливо отвечая на предлагаемые вопросы, не отрывались от своих луп и микроскопов. Только один из них добродушно и грубовато ответил Штейнеку:

– Вы бы меня оставили в покое, профессор. У меня нет времени для этих разговоров: этот негодяй опять от меня улизнет.

Штейнек тотчас же увел своих гостей в другую комнату, говоря:

– Он прав. Этот негодяй – это его бацила. Поняли?

Он повел их затем в свой кабинет, обставленный с такой же простотой, как и комнаты его молодых помощников.

– Здесь я работаю.

– Над чем, осмелюсь спросить? – сказал Левенберг.

Взгляд ученого принял мечтательное выражение.

– Над оздоровлением Африки, – сказал он.

Посетители удивленно переглянулись. Они не расслышали? Или почтенный профессор не в своем уме? Кингскурт, пытливо глядя на него, повторил:

– Вы сказали: над оздоровлением Африки?

– Да, мистер Кингскурт. Я надеюсь найти средство против малярии. У нас, в Палестине, благодаря осушению болот, канализации, эвкалипту это зло совсем побеждено. Но в Африке оно еще очень сильно. Но там эти затраты немыслимы, потому что трудно предвидеть скорый приток населения. Белый человек, колонизатор, гибнет там. Африка лишь тогда станет ареной культурной работы, когда малярия будет обезврежена. Лишь тогда огромные пространства земли станут доступны для переизбытка населения в европейских странах. Тогда лишь массы пролетариата найдут здоровое убежище. Поняли?

Кингскурт рассмеялся.

– Вы хотите, значит, отправить белых людей в черную часть света?

Но Штейнек серьезно ответил:

– Не только белых, но и черных. Существует неразрешенный народный вопрос, ужас которого может понять только еврей. Это вопрос о положении негров. Не смейтесь, мистер Кингскурт. Подумайте о кровавых ужасах торговли рабами. Люди, хотя бы черные люди, похищаются, как звери, увозятся продаются. Дети их вырастают на чужбине только потому, что кожа их другого цвета. И не постыжусь сказать, хотя рискую подвергнуть себя насмешкам: пережив переход евреев в Палестину, я стал мечтать о возвращении негров в их родную страну.

– Вы ошибаетесь, – сказал Кингскурт. – Я не смеюсь, я нахожу эту идею великолепной, черт меня побери! Вы открываете мне горизонты, каких я и во сне не видал!..

– И поэтому я мечтаю об оздоровлении Африки. Все люди должны иметь родину. Тогда они будут лучше относиться друг к другу. Между ними будет больше любви и взаимного понимания. Вы поняли?

И мистрисс Готланд тихо и взволнованно сказала то, что думали остальные спутники:

– Профессор Штейнек, благослови вас Бог!

VI

Они вышли из института Штейнека в возбужденно‑радостном настроении. Когда они проезжали мимо кургауза, Решид‑бей предложил посидеть немного в саду и послушать музыку. Они вышли из экипажа и вошли в большой сад, разбитый на аллеи и газоны. На эстраде играл оркестр. Под пальмами сидели мужчины и разряженные дамы и разглядывали гуляющих, болтали и злословили.

Кингскурт сделал гримасу:

– А, вот они, наконец, еврейки в шелках и драгоценных каменьях! А я, было, уже стал думать, что все это мистификация и что мы вовсе не в Иудее. Но теперь я вижу, что мои сомнения были напрасны. Вот они, вот они ошеломительные шляпы, яркие платья, бриллианты, жемчуг… Oh, la, la… Вы не обижаетесь, надеюсь, мистрисс Готланд. Вы совершенно другой пробы.

Мистрисс Готланд поспешила его успокоить, а профессор Штейнек хохотал во все горло.

– Пожалуйста, не стесняйтесь, м‑р Кингскурт! Такие замечания в прежнее время могли казаться нам обидными, но не теперь. Поняли? Прежде, в разных фатах, надутых снобах и увешанных камнями еврейках видели представителей еврейства. Теперь знают уже, что есть и другие евреи. Теперь можете трунить, сколько душе вашей угодно, благородный иностранец. С превеликим удовольствием вас поддержу.

Оживленная компания обращала на себя внимание. Профессора, повидимому, все знали, и незнакомцы, находившиеся в его обществе, явно интересовали публику. Желая избегнуть назойливо любопытных взглядов, Штейнек увлек своих спутников в боковую аллею, но тут‑то они и очутились в кругу, от которого хотели бежать.

Из группы оживленно беседовавших мужчин и женщин быстро вышел один господин и, подбежав к Фридриху, громко заговорил: .

– Доктор, доктор! Угадайте‑ка, угадайте, о ком мы говорили сейчас! Ну? О вас! О вас! Как я рад, что встретил вас опять!

Этот экспансивный господин был Шифман. Он потащил Фридриха к своим знакомым, шумно представил его, подвинул ему стул и усадил его. Все это он проделал с таким натиском и быстротой, что Фридрих, если бы и не растерялся от изумления, не в силах был бы оказать какое‑либо сопротивление. Но он совершенно растерялся, потому что вдруг увидел перед собою предмет своей юношеской любви, Эрнестину Леффлер. Она приветствовала его глазами и улыбками, и он не находил слов.

Шифман между тем вернулся к Штейнеку, с которым был знаком. Он стал приглашать и его с остальными спутниками с настойчивостью лавочника, зазывающего покупателей в свою лавочку. У профессора никакого желания не было принять приглашение, но Кингскурт заметил, что нельзя же, мол, оставить Фридриха одного в этой компании. Раз он попался, они должны разделить его судьбу.

Шифман ответил на эту сомнительную любезность заискивающей улыбкой. Затем он притащил стулья и назвал фамилии своих знакомых: m‑r, m‑me и m‑lle Шлезингер, доктор Вальтер с женой, Вейнберг с женой и дочерью, Грюн и Блау.

Фридрих смотрел и слушал, как во сне. Прошлое, как в тумане, вставало перед ним. Он опять видел себя на помолвке, в доме Леффлера. Вот оно опять, это несносное общество, от которого он тогда в отчаянии бежал. Все состарились, но все те же. Только обе молодых девушки принадлежат к другому поколению. Эта тоненькая, стройная, как ковыль, – вылитый портрет Эрнестины. Он был оглушен своими воспоминаниями и едва различал голоса и слова, которые говорились вокруг него. Лишь когда кто‑то обратился с вопросом прямо к нему, он пришел в себя. С ним заговорил Грюн, знаменитый некогда в Вене юморист:

– Ну что, д‑р Левенберг, нравится вам наша страна? А? Что же вы медлите ответом? Или вы находите, что здесь слишком много евреев?

Послышался смех. Фридрих ответил:

– Откровенно говоря, вы первый, наведший меня на эту мысль.

– Это прелестно, ха, ха, ха! – захохотал Шифман. Остальные дружно поддержали его. И по этому общему смеху Фридрих понял, что слова его приняты были за одну из грубых шуток, принятых в этом обществе.

Но Грюн нисколько не обиделся. А другой остряк, Блау, счел долгом сделать к словам Левенберга язвительное добавление:

– Грюн в состоянии был бы и здесь обратить людей в антисемитизм.

– Ваши остроты не современны, – вставил д‑р Вальтер. – Теперь, слава Богу, нет больше нигде антисемитов.

– Если бы я в этом был уверен, – ответил Блау, – я занялся бы этим делом, антисемитизмои, не опасаясь конкуренции.

Кингскурт нагнулся к Штейнеку и шепнул ему на ухо:

– Дорогой профессор, я не советую вам прыгать перед этими господами – вас высмеют.

– Да это и не входит в мои планы, – ответил Штейнек. – Такого пошиба люди прежде всего видят во всем забавную сторону, более или менее благодарный сюжет для балагурства.

– Так что теперь нет уже в Европе прежней ненависти к евреям? – спрашивал кого‑то Левенберг.

– Да ее вовсе нет! Теперь ненависть к евреям перешла уже в область преданий, – ответил Шлезингер.

– На этот счет никто не может дать вам таких точных сведений, как доктор Файгльшток. Он держал себя, как капитан погибающего судна, и Европу оставил последним, – задорно сказал Блау.

– Послушайте, Блау, прошу вас запомнить раз навсегда: меня зовут Вальтер! Вальтер! – горячился адвокат. – Я никогда не стыдился почтенного имени своего отца, и это всем известно. В прежнее время, приходилось, во избежание насмешек, считаться с некоторыми предрассудками.

– А теперь в этом нет больше надобностей? – спросил Фридрих.

– Нет. Блау единственный раз в своей жизни оказал правду. Я недавно только переехал сюда. Но из этого можете только заключить, что я не по нужде приехал сюда, а по доброй воле.

Д‑р Вальтер, повидимому, ощутив в себе прилив красноречия, принялся разсказывать о последствиях, которые повлекла за собою эмиграция евреев. Для него, д‑ра Вальтера, с самого начала было ясно, что сионистское движение как для уезжающих, так и для остающихся евреев будет иметь самые благоприятные последствия.

Он был один из первых, оценивших значение этого движения, и если тогдашнее общественное положение и не позволяло ему открыто высказывать свои убеждения, то он все таки незаметным скромным путем содействовал успеху национальной идеи. И в доказательство он привел тот факт, что у него служил писцом бедный студент, еврей, который посещал собрания сионистов, и он, Вальтер, ему, однако, от места не отказал. И мало того, он и в национальный фонд внес свою скромную лепту, в которой он, быть может, и не нуждался, так как в начале двадцатого столетия фонд этот насчитывал уже несколько миллионов фунтов стерлингов.

Блау подтрунивал над размерами этой лепты, но д‑р Вальтер, делая вид, что не слышит его язвительных вопросов, невозмутимо продолжал свое повествование. Теперь каждый знает и видит, что эмигранты нашли в Палестине счастливую родину. Но и евреи, которые остались там, где жили, не могут жаловаться на свою судьбу. С прекращением конкуренции со стороны огромного количества евреев –торговцев, ремесленников, людей свободных профессей, прекратились и нападки на евреев.

Прежде всего эмигрировали те, которым нечего было терять, которые могли только выиграть, уехав в страну, где был спрос на рабочие силы. И так как эмиграция была добровольная, то уезжали те, которые надеялись путем эмигращи улучшить условия своей жизни.

Безработные, измученные нуждой устремились туда, где открывалось широкое поле труда и надежд. И при том, известно было, что при существовавших тогда в Палестине условиях крупные предприятия должны были иметь успех. Затем, манила свобода. Никаких ограничений из‑за вероисповедания и национальности. Уже это одно было большой приманкой. Тогда же соединились еврейские благотворительные общества всех стран.

До тех пор все капиталы тратились на бездомных, гонимых бедняков, и это были непроизводительные траты, потому что притеснения и гонения не прекращались, а с ними росла нищета. Когда же началась эмиграция евреев в Палестину, соединенный комитет поставил себе главной целью дать возможность желающим эмигрировать, В первое время были голоса, выражавшие сомнения в том, чтоб слабый духом пролетариат сумел проявить энергию, силы, необходимые для создания новой культуры. Но на всем протяжении истории человечества новые поселения создавались только голодными. Сытым не зачем искать новые места. Сытые остаются там, где живут в довольстве и достатке. Но дали, широкие мир принадлежит голодным. Пуритане, спасавшие свою веру, основались в Северной Америке. Искатели счастья селились в Индии или Южной Африке. И была ли еще одна колония, созданная такими печальными элементами общества, как Австралия, огромная, цветущая, гордая Австралия. В начале девятнадцатого столетия это была колония преступников, и в несколько десятилетий она разрослась в мощную, здоровую государственную общину.

В конце девятнадцатого столетия она была драгоценнейшим украшением в английской Королевской Короне. Но такие люди, как д‑р Вальтер и ему подобные, конечно, понимали, что раз колония, в роде Австралии, могла создаться несчастными преступниками, то тем более могли осуществить эту задачу пионеры еврейского народа, тем более, что в этой геройской борьбее за честь и свободу нации весь израильский народ сулил им поддержку. Масса рабочих рук и интеллигентных сил вдруг нашла широкое применение, тогда как до того еврейская молодежь, не говоря уже о людях, не вооруженных знаниями и профессиями, по окончании университетов, академий, высших технических школ безпомощно и безнадежно взирала на свое будущее. В самых просвещенных европейских странах антисемитизм не давал евреям свободно дышать.

Изменилось и положение тех евреев, которые остались там, где жили. Так как торговля стала падать с уходом евреев, то во многих местах введены были запретительные меры против полного выселения евреев, точно желали удержать этим необходимые элементы брожения. Затем терпимость, которую выказывали с самого начала евреи в Палестине, вызывала такое же отношение к евреям со стороны христианских народов.

– Поэтому, – заключил д‑р Вальтер свою речь, бросая благожелательный взгляд в сторону профессора Штейнека, – я приверженец я поборник идей, отстаиваемых партией Штейнека и Литвака. И за эту идею я буду бороться до последней капли крови.

Блау заметил с сардонической усмешкой:

– Не забудьте передать это вашему брату, профессор. Раз д‑р Вальтер на вашей стороне, значит, за вас большинство.

Адвокат побагровел.

– Что вы хотите этим сказать, скоморох? – прошипел он.

– Ничего, ничего я этим не хотел сказать, – ответил остряк, деелая невинное лицо. – Я всегда видел вас там, где находится большинство, поэтому можно только поздравить людей, к которым вы примыкаете.

– Если вы этим намекаете на то, что я меняю свои взгляды, то я не считаю даже нужным оправдываться. Каждый человек умнеет с течением времени. Суть только в том, чтобы оправдывать делом свои убеждения.

Другой остряк тоже хотел было, метнуть какую‑то остроту, но Шлезингер, в качестве поверенного барона Гольдштейна, все еще пользовавшийся авторитетом в этом кругу, счел нужным положить конец этим препирательствам.

– Да что это, господа? Разве мы в народном собрании? Зачем эти пререкания? Я признаю только две вещи; дела и развлечения.

– Браво! – сказал Кингскурт. – Но прежде всего, конечно, дела!

– Непременно! Но здесь мы собрались, чтоб развлечься, так? Ну и избавьте нас, пожалуйста, от этих споров и объяснений.

– Верно, верно, вы совершенно правы – льстиво смеясь, уверял его Шифман и, обращаясь к Фридриху и Кингскурту, сообщил:

– Не даром он пользуется таким неограниченным доверием барона Гольдштейна. Ведь, он представитель этой фирмы в Яффе.

– Быть не может! – воскликнул Кингскурт, делая удивленные глаза. Шлезингер молчал с скромным видом знаменитого человека, которого показывают толпе.

Дамы, между тем, вернулись к прерванному разговору о новых парижских шляпах. Тон беседы давала г‑жа Лашнер, которая получала все принадлежности туалета непосредственно из Rue de la Paix.

Но Эрнестина Вейнбергер знаком пригласила Фридриха подвинуться к ней и тихо заговорила с ним.

– Это моя дочь. Как время бежит! Как вы находите ее? Красива, дурна?

– Вся в мать! – машинально ответил он.

– Значит, дурна! Ах, какой вы злой – сказала она и кокетливо вскинула на него глаза.

Ему было очень тяжело смотреть на эту поблекшую женщину и ее смешные претензии нравиться и пленять. Он увидел причину своих мук и терзаний в совершенно ином свете и его точило раскаяние о двадцати безцельно прожитых годах.

Но она не подозревала того, что происходило в его душе, и продолжала шутливо допрашивать его: что он намерен теперь делать? Останется ли он здесь или поедет в Европу? И если он останется, то, вероятно, он обзаведется семьей, женится…

– Я? В мои годы? – удивленно ответил он. – Нет, это я прозевал, как и многое другое, более важное.

– Вы не искренни, – сказала г‑жа Вейнбергер. – Вы еще не стары и кажетесь на вид даже моложе своих лет. Вы отлично сохранились на своем уединенном острове… Позвольте, позвольте, вот спросите ее… Она про вас ничего не знает… Фифи, как ты полагаешь, сколько лет д‑ру Левенбергу.

Фифи Вейнбергер взглянула на него и, опустив глазки, пролепетала:

– Около тридцати!

– О, нет, милая барышня! Вы плохо разглядели меня!

– Нет, я второй раз уже вижу вас, – краснея, сказала девушка. – Я вас на‑днях видела в опере, вы были с Мириам Литвак.

– A propos, – заметилаЭрнестина. – как вам нравится Мириам Литвак? Я не про внешность спрашиваю. Она очень недурна. Но она, кажется, рисуется немного своей серьезностью. Она играеть в педагогию. Это теперь в моде здесь.

– Насколько мне известно, – резко ответил он, – Мириам Литвак не играет в педагогию. Она с искренним увлечением занимается своим делом.

– Скажите, скажите! Какого защитника приобрела себе Мириам! – трунила Эрнестина.

– М‑р Кингскурт делает мне знаки, – сказал Фридрих, вставая. – Мы засиделись здесь.

Он простился и ушел со своими друзьями. Кингскурт взял его под руку и сказал ему:

– Фритц, угадайте, о чем я думал все время, когда мы находились в этом милом обществе?

– Не могу знать.

– Я думал о том, что нам пора убраться подобру, по‑здорову. Ведь, мы не шулера, не убийцы какие‑нибудь, чтобы кончить свое существование в компании господ Шлейзингеров. Или вы намерены навсегда здесь застрять?

– Что за вопросы, Кингскурт? Вы прекрасно знаете, что я вам принадлежу, и пойду с вами, куда и когда бы вы ни пожелали.

Старик остановился и крепко пожал ему руку.

## КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ.

СВЯТАЯ ПАСХА I

Был уже вечер, когда гости вернулись на виллу старых Литваков. Русский поп из Сефориса приехал за час до них. Немного позднее пришел Давид с францисканским патером Игнатием. Это был хорошо упитанный, краснощекий мужчина с светлой бородой, красиво выделявшейся на темной сутане. Он был родом из Кельна, жил в Тибериаде уже около двадцати лет и изъяснялся только по‑немецки. И руский священник с м‑ром Гопкинсом делали геройские усилия, чтобы как‑нибудь столковаться с патером Игнатием на его родном языке.

Пасхальный стол на двадцать приборов накрыт был в столовой, в нижнем этаже. Давид указал гостям места и сам сел в нижнем конце стола, против отца, занявшего хозяйское место. По правую сторону старика стоял пустой стул больной матери, которая не могла сойти к столу. По левую сторону хозяина дома сидела м‑с Готланд.

Началась старинная красивая мелодрама пасхальной трапезы.

Хозяин дома поднял кубок с вином и произнес молитву, в которой благодарил Бога за сладкий плод, растущий на виноградных лозах, и все милости, оказанные Богом народу израильскому.

– Всемогущий Бог наш! Ты дал нам время для радости праздника, торжества и блаженства, и этот праздник опресноков в память нашего освобождения и нашего выхода из Египта…

По окончании молитвы все, кроме Кингскурта, отпили немного вина. М‑с Готланд нагнулась к нему и тихо сказала ему по‑английски:

– Вы должны делать все, что делают другие. Таков обычай!

Кингскурт состроил уморительное лицо и с забавной серьезностью стал проделывать то же, что делали члены семьи и с ними христианские гости.

Хозяин дома обмыл руки в серебряной чашке, которую поднесла ему Мириам… Затем он взял с тарелки, стоявшей перед ним, кусок петрушки, обмакнул его в соленую воду, произнес молитву и съел. Всем присутствовавшим за столом подано было по куску петрушки и все ее ели. Кингскурт тоже проглотил петрушку с веселой гримасой, и м‑с Готланд добродушно смеялась, глядя на него. Затем с покрытого салфеткою блюда убрали яйцо, кость и кусок жареного мяса и высоко подняли его с торжественными словами:

– Это хлеб страдания, который ели предки наши в Египте…

М‑с Готланд опять пришла на помощь Кингскурту и указала ему в лежавшем перед ним молитвеннике, рядом с древнееврейским текстом, немецкий перевод. Затем вторично налили в кубки вино, и Давид, как самый младший за столом, встал и спросил:

– Ma nischtaneh halajloh haseh?.. Чем эта ночь отличается от других ночей? Потому что всегда мы едим и кислое, и пресное, – в эту же ночь только пресное. Мы едим всегда всякие овощи, – в эту же ночь только горькие овощи.

Тогда открыли блюдо с опресноками, и все хором ответили на вопрос Давида:

– Когда‑то мы были рабами фараона в земле Египетской, и Всемогущий Бог наш вывел нас из рабства мощной рукою…

Торжество, имевшее характер и службы, и семейной беседы, шло стройно и благостно, трогая сердца трагизмом и красотою неизгладимого в памяти страдания. В самую глубь веков восходил этот национальнейший изо всех еврейских праздников. Точно так же совершались эти обряды и много веков назад; мир изменился, одни народы погибали, появлялись другие, из бездны морей выплывали новые материки, неведомые силы природы облегчали и украшали человеческую жизнь, и только один этот народ еще жил и исполнял неизменные обряды, верный себе и памяти о страданиях своих предков.

Великий Израиль, народ рабства и свободы все еще молился тысячелетними словами своему Вечному Богу!

Один из присутствовавших за столом произносил древнееврейские слова молитвы с ревностныи усердием новообращенного. Волнение теснило ему грудь и он с трудом сдерживал рыданья.

Почти тридцать лет прошло с тех пор, как он сам, маленьким мальчиком, спрашивал «Ma nischtaneh». Затем пошло «просвещение», отречение от всего еврейского, закончившееся прыжком в пустоту, так как у него не было больше в жизни точки опоры. И в этот вечер, за пасхальной трапезой, он казался самому себе блудным сыном.

– Фритц, я и не подозревал, что вы такой ученый гебраист! – бросил ему Кингскурт через стол, воспользовавшись паузой в молитве.

– Откровенно говоря, я и сам этого не подозревал! – ответил он. – Но, очевидно, есть вещи, которые никогда не забываются.

Во время разговора так часто упоминалось имя какого‑то Иоэ, что Кингскурт не мог удержаться и не спросить, что представляет собою таинственный незнакомец.

– Вы не знаете Иоэ?! – с непритворным изумлением сказал профессор. – Ну это большой пробел в вашем образовании. Иоэ нельзя не знать. Без Иоэ многого бы не случилось. Иоэ – удивительный человек, редкий человек, Иоэ, в своем роде, единственный в мире человек.

– О, о!.. Я не прочь был бы повидать этот редкий экземпляр…

– К сожалению, это невозможно. Вы можете только поговорить с ним со телефону. Он сегодня после полудня прибыл в Марсель. Я перед ужином говорил с ним по телефону.

– Как? – изумился архитектор. – Внезапно? Никого не предупредив?

– Да вы его знаете, – сказала м‑с Готланд. – Ему сообщили, что один лионский фабрикант ввел на своих фабриках новую машину. «Надо, говорит, посмотреть». – И в тот‑же день собрался и уехал в Европу. И так как тамошние газеты предупреждены были по телеграфу о его приезде, то его теперь, вероятно, уже осаждает целый отряд фабрикантов, агентов и инженеров.

Решид‑бей добавил:

– Да, его всегда ждут, куда бы он ни приехал, представители всех областей промышленности. У него сношения с Англией, Германией, Францией и Америкой.

Завтра он, быть может, отправится в Америку, если не поедет в Лондон или не вернется сюда. Никогда нельзя знать наперед, что сделает Иоэ. Одно только можно сказать: он сделает то, что нужно. Он пятимиллионное дело решает скорее, чем иной вопрос о покупке нового сюртука. Американцы в восторге от него.

– Черт побери, он мне нравится, ваш Иоэ– воскликнул Кингскурт. – А что он собою здесь представляет?

– Он главный управляющий по делам торговли и промышленности, – сказал Давид. – Нет такой должности, на которую не годился бы Иосиф Леви. Это человек, одаренный изумительной прозорливостью и железной волей. У него глубокий ясный ум и он быстро ориентируется в самых сложных запутанных вопросах. И раз Иосиф Леви берется за какое‑нибудь дело, вы можете поручиться своей головой, что он доведет его до конца. Для вас интересно будет послушать его. Я доставлю вам эту возможность после ужина, раз мы лишены удовольствия видеть его сегодня в нашем обществе.

– Вы предлагаете нам поговорить с ним по телефону? – спросил Кингскурт.

– О, нет. Вы послушаете его доклад о колонизации Палестины. Я упросил его однажды проговорить его в фонограф и заказал множество этих валиков. Несколько сот экземпляров я подарил школам, в виде пасхального подарка. И мы сегодня в первый раз послушаем этот доклад из фонографа.

Кингскурт нашел эту затею очень забавной.

– Это чудесно! – сказал он – Отличная идея! Я, ведь, все время добиваюсь от вас ответа, как это у вас все наладилось. Про железные дороги, гавани, фабрики, автомобили, фото‑фоно‑теле‑и прочие графы и мы, несчастные, слыхивали. Но каким образом вы всю эту культуру здесь развели?

– Иоэ все это расскажет вам в последовательном порядке, – ответил Давид. – И этот первый вечер Пасхи мнй кажется очень подходящим для этого моментом. Мы читаем сегодня в нашей старой Агуде, как однажды мудрецы собрались в такой же вечер в Бене‑Бераке и всю ночь говорили о выходе евреев из Египта. Мы – потомки рабби Элиазара, рабби Иегошуа, рабби Элеазара, сына Ашария, рабби Акивы и рабби Карфона. И это наш вечер в Бене‑Бераке. Старое обновляется. Мы сперва совершим наши обряды, как совершали их наши предки. Евреи вторично очутились в Египте и вторично пережили благополучный исход. Но на этот раз освобождение евреев совершилось при содействии культуры и технических средств, которые были в распоряжении человечества в начале двадцатого столетия. Иначе быть не могло. И раньше это быть не могло. Необходимо было, относительное хотя бы, обилие технических приспособлений. Народы должны были подняться до понимания значения колониальной политики. Нужны были не парусные суда, а огромные пароходы, дающие в час двадцать две мили и даже больше. Словом, нужен был инвентарь 1900. Мы должны были сделаться новыми людьми и остаться верными старому племени. И нужно было благожелательное участие в этом великом деле народов и их правителей, в противном случае мы не могли бы даже приступить к осуществлению заветной мечты.

Гопкинс напомнил своим товарищам христианам о столкновениях, которые происходили когда‑то у гроба Господня, и возбуждении умов в дни Святой Пасхи. Теперь они, христиане, мирно беседуют за пасхальной трапезой в доме еврея, и религиозные верования одних нисколько не оскорбляют верований другого. Потому что возродилась весна человечества.

– Да, весна человечества! – задумчиво повторил священник из Сефориса.

II

По совершении всех обрядов и молитв, все общество перешло в гостиную, где на столе уже стоял фонограф. Мужчины и дамы уселись в креслах и на диванах. Давид передвинул какую‑то кнопку в аппарате и шутливо сказал:

– Слово за Иосифом Леви.

В фонографе что‑то зашипело, зажужжало и, наконец, сильный мужской голос отчетливо заговорил:

«Милостивые государи!

Я буду рассказывать историю нового переселения евреев. Все это очень просто было. Мне кажется, что действительность теперь раскрашивается и раздувается.

Политической стороны дела я касаться не буду. Я не политический деятель, – к счастью, никогда им не был и не буду. У меня была своя задача, и я ее провел. Наше общество основано было под названием «Новое общество для колонизации Палестины». Оно заключило с турецким правительством колонизационный договор, условия которого известны всему миру. Когда меня спрашивали, в состоянии ли мы будем выплачивать ежегодно турецкой государственной казне суммы, которые мы обязались платить, я уклончиво молчал. При заключении договора мы должны были уплатить турецкому правательству два миллиона фунтов стерлингов, затем ежегодно, в течение тридцати лет, пятьдесят тысяч фунтов стерлингов и четвертую часть суммы чистых доходов «Нового Общества для колонизации Палестины». По истечении первых тридцати лет мы обязались делить чистый доход «Нового общества» пополам с турецким правительством. И на этих условиях нам предоставлены были для заселения земли, верховная власть над которыми все же оставалась за султаном.

Обязательства, которые мы взяли на себя, были очень тяжелые, и у многих являлись сомнения, сумеем ли мы выполнить их. Страна была крайне бедна, и первые партии колонистов представляли собою пролетариат изо всех стран. Хотя было много крупных учреждений, содействовавших успеху национального дела, и общий фонд их в конце 1900 г. равнялся двенадцати миллионам фунтов стерлингов. Но, кроме платежей турецкому правительству, покупка земли, обработка, усовершенствование, постройка домов, переезды неимущих колонистов требовали еще огромных сумм. Где их было взять? Мои ближайшие друзья и я не сомневались в победе и смело смотрели в будущее. Мы понимали, что при дружной упорной работе свободных людей можно всего достигнуть. А людей мы сами должны были создать, дисциплинировать их, приучить к труду и новым условиям жизни. И это нам удалось. Мальчики, которых мы привели сюда, через десять лет стали взрослыми, уже приспособленными к новым условиям, людьми. А нам, ведь, только это и и нужно было. Нам нужны были люди.

Затем, мы возлагали большие надежды на предприимчивость, свойственную всем народам, и особенно евреям.

Когда в конце девятнадцатого столетия в Клондике нашли золотую руду, в Аляску устремились толпы алчущих и жаждущих. Я говорю не о золотоискателях, а о предпринимателях, которые шли по пятам золотоискателей. Туда потянулись транспорты кроватей, столов, стульев, белья, сапог, платья, консервов, напитков, врачей, учителей, певцов, – словом, в Клондике оказались все нужные и не нужные аттрибуты культуры потому только, что несколько человек пожелали искать там золота. Я привел этот пример, как яркое доказательство того, что одно предприятие всегда влечет за собою другое. Каждый практический человек инстинктивно знает это и в таких случаях не совещается с профессорами политической экономии. Евреи искони веков были искусными предпринимателями. Только насчет собственной будущности мы не лелеяли экономических надежд. Почему? Потому что не было почвы под ногами. Но как только евреи очутились на родной земле, они, конечно, проявили и здесь ту же ловкую предприимчивость, что и в других странах. И на основании этих соображений вопрос о деньгах менее всего нас беспокоил.

Ну вот, договор был заключен. Условленная сумма внесена. И я выговорил тогда первым условием, чтобы договор этот не был опубликован. Я боялся, что народ будет сбит с толку цифрами и получит превратное представление о значительности национального фонда и о требованиях, которые будут предъявляться к колонистам. Я боялся излишней радости наших несчастных собратьев. Надо было подготовить

их к новой жизни. Да и над собою пришлось тоже поработать. Выбрана была дирекция «Нового Общества», и дирекция меня назначила главным руководителем всего дела на пять лет. Тогда же я получил на первые расходы кредит на миллион фунтов стерлингов. Один из моих инженеров находил, что этого мало…»

– Ужасно мало! – сказал Кингскурт и крикнул Давиду:

– Заткните ему, пожалуйста, глотку!

Давид закрыл фонограф.

– Объясните мне, ради Бога, толком, что это за «Новое Общество», – заговорил Кингскурт. – Это то же, что и эта община, о которой была речь в Нейдорфе… И что это за дирекция была? И каким путем вы собрали капиталы, хотя бы и небольшие?

– Я понимаю ваши вопросы, – сказал Давид. – Иосиф Леви полагал, что на этот счет ему распространяться нечего, так как это каждый ребенок знает. Основанное вначале «Общество» то же, что и теперешняя Община, и в то же время то и другое совершенно разные вещи. Я вам это объясню. Вначале было акционерное общество, а теперь это артель. Но в имущественном отношении артель – прямая наследница акционерного общества.

– Ничего не понимаю! – с отчаянием в голосе промолвил Кингскурт. – Что же акционеры подарили вам свои деньги? Но, ведь,это сказка.

– Ничего в этом сказочного нет, – ответил Давид. – Вы поймите – у нас здесь три, так сказать, юридических личности. Первая – учреждения, которые в конце 1900 года обладали капиталом в двенадцать миллионов фунтов стерлингов, вторая – акционерное общество, основанное преданными нашему делу лондонскими финансистами с капиталом в десять миллионов фунтов, и третья – артель колонистов, представителями которой были выбираемые на конгрессах вожди партии. Вожди же тогда только дали ход эмиграционному движению, когда они окончательно спелись с акционерами насчет передачи в будущем их капиталов.

– Я поражен, мой сказочный принц! – сказал Кингскурт. – Что же это были за люди – благородные герои нравоучительных романов?

– Нисколько. Это были живые люди, умные дельцы, удовлетворявшиеся скромным доходом. Заключена была сделка между капиталом и трудом. Сами по себе ни капитал, ни труд желанных результатов дать не могли. И капиталисты, и работники должны были иметь известное обеспечение. Если бы этот вопрос тогда не был выяснен, осложнения были бы неминуемы поздней: или народ стал бы притязать на права акционеров, или последние поработили бы народ. Далее, артель колонистов выговорила себе право выкупить акции общества по истечении десяти лет. И выкупная сумма должна была быть не меньше основного фонда общества вместе с процентными деньгами, считая по 5%.

– Но это кажется совершенно невыполнимым условием. Каким образом колонисты могли добыть такие капиталы для приобретения акций? – скромно заметил Левенберг.

– Ну теперь я начинаю понимать, – сказал Кингскурт. – Если колонизация удалась, то вопрос о деньгах не мог смущать колонистов. При успехе дела, они, ведь, могли получить необходимые деньги взаймы.

– Совершенно верно, – ответил Давид. – Доходы общины росли с каждым годом и по истечении десяти лет она сделала заем в двадцать пять миллионов.

Акции она приобрела за двадцать миллионов, а остальные остались у нее еще на разные усовершенствования.

– Молодцы! – воскликнул Кингскурт. – Но каким же образом удвоился капитал акционерного общества?

– Потому что земли, которые оно скупило, страшно поднялись в цене, – сказал Давид. – Но своей ценностью земли обязаны были своим работникам. Они же, конечно, должны были пожинать плоды своих трудов. Вы видите отсюда, каким образом земля стала общим достоянием. Она стала собственностью артели, которая с тех пор носит официальное название Новой Общины.

– Изумительно, изумительно, – промолвил Кингскурт. – Ну послушаем, что дальше было. Заведите‑ка вашу шарманку.

III

Давид поставил фонограф, и опять зазвучал голос Иоэ, повторивший прежние последние слова:

«Дирекция меня назначила главным руководителем всего дела на пять лет. Тогда же я получил на первые расходы кредит на миллион фунтов стерлингов. Один из моих инженеров находил, что этого мало. Но для начала, по моему, было достаточно. Я составил план. Это было осенью. После зимнего сезона я предполагал открыть организованную эмиграцию. Оставалось всего четыре месяца для подготовительной работы. Нельзя было терять ни одной минуты. Учредив главную контору в Лондоне, я назначил директорами отделений в наиболее значительных центрах людей мне знакомых, или которых мне рекомендовали друзья. Смиту я поручил перевозку пассажиров, Рюбенцу транспорт товаров, Штейнеку – постройку зданий, Варшавскому – покупку машин, Алладино – покупку земель, Кону и Браунштейну – заботы по продовольствию, Гамбургеру – покупку семян и рассад, в ведении Леонкина был счетный отдел; Вельнер был моим главным секретарем. Главным моим помощником и главным инженером был Фишер, которого смерть уже похитила у нас. Это был честный, серьезный, даровитый человек.

Первым делом я послал Алладино в Палестину с поручением купить столько земли, сколько возможно будет. Это был испанский еврей, хорошо знавший арабский и греческий языки, надежный и умный человек, принадлежавший к одному из тех знатных семейств, которые вели свой род еще от евреев, изгнанных некогда из Испании. До публикования договора цены на земли были довольно умеренные. На покупку земли было ассигновано два миллиона фунтов стерлингов. Так как при заключении договора я заручился обещанием турецкого правительства, что до поры, до времени не уничтожены будут запретительные меры в отношении иммигрантов, я этим путем временно задерживал имиграционное движение европейских и американских евреев. Предо мной в конторе всегда находился план Палестины, разделенной на нумерованные квадратики. Копия плана находилась у Алладино. Он должен был только сообщать мне по телеграфу номера участков, которые он покупал. И я каждый день знал, каким количеотвом и какими участками мы располагаем, и сообразно с этим мог давать дальнейшие распоряжения. В то же время я послал Гамбургера в Австралию для покупки эвкалиптовых деревьев. У него было также секретное полномочие на приобретение рассадников средиземной флоры, которую он найдет нужным пересадить в Палестину пользы ради или для красоты. Алладино и Гамбургер уехали вместе в Марсель. Там они расстались. Алладино отправился первым пароходом в Александрию; Гамбургер ездил вдоль Ривьеры, останавливался в намеченных местах и делал заказы в садоводствах к наступавшей весне. Неделю спустя он уехал из Неаполя в Порт‑Саид, и я услышал о нем, когда он был уже в Мельбурне. Инженера‑механика Варшавского я отправил в Америку для покупки новейших сельскохозяйственных орудий машин, всякого рода ваторов и пр. Варшавский, как и другие директора отделов, получил полномочие приобреетать все нужное и практичное, не придерживаясь точно предписанной мною программы. Я сказал Варшавскому, прощаясь с ним: «Не покупайте старья!» – И он понял меня, как и другие сподвижники мои. Мы привезли в Палестину из всех областей промышленности и техники все наилучшее, все новейшее и в этом был залог наших будущих преуспеяний. У Варшавского было еще одно поручение: он должен был подготовить переселение еврейских эмигрантов из Америки в Палестину. Этому элементу населения мы придавали наибольшее значение. Это были люди, вырвавшееся уже однажды из тяжелых условий жизни и прошедшие затем хорошую американскую школу борьбы за существование.

В конце девятнадцатого столетия ни в одном городе в мире не было столько евреев, сколько в Нью‑Йорке. Такие огромные массы европейских беглецов не могли, конечно, создать себе безбедное существование. Они жили скученно, грязно, теснили друг друга, и, в сущности, положение их было такое же печальное, как в Европе. Удаление излишка населения было таким же спасением для них, как и для евреев восточной Европы. Таким же путем должно было быть и здесь подготовлено эмиграционное движение в Палестину. Варшавскому поручено было войти в переговоры с представителями американских сионистских кружков. «Основалось крупное общество, – заявил он им, – и получило в Палестине концессии на сельскохозяйотвенные и промышленные предприятия. В феврале месяце понадобятся дельные, образованные и необразованные работники. Приготовьте мне списки членов, принадлежащах вашим общинам, и о каждом члене дайте нам подробные сведения под рубриками: имя, возраст, месторождение, профессия, семейное и имущеотвенное положения. Между необразованными предпочтение получат безработные; между ремесленниками – женатые. Каждая община берет на себя нравственную ответственность за рекомендуемых ею людей. Если рекомендованные какой‑либо общиной члены не оправдают ожиданий, окажутся негодными и нежелательными в рабочей среде элементами, то эта община теряет впредь право рекомендации. Для общин должно быть вопросом чести давать искусных в работе, честных людей». Такое же предписание мы разослали сионистским кружкам в Россию, Румынию, Галицию и Алжир. С этой целью я отправил Леонкина в Россию, Браунштейна, бывшего родом из Ясс, – в Румынию, Кона – в Галицию и Смита – в Алжир. Леонкин вернулся в Лондон через три недели, другие – через две. Во всех пунктах они заручились надежными корреспондентами. Дело это должно было просто и живо централизоваться, в противном случае мы потонули бы в море корреспонденций.

Представители общин нескольких областей выбирали один комитет. Представители областных комитетов выбирали из своей среды представительный комитет данной страны и только этот последний имел непосредственное сношение с моей лондонской конторой.

В прежнее время часто высказывалось мнение, что ожидание предстоящего переселения должно иметь на людей деморализирующее влияние. У них не будет ни желания работать, ни исполнять свои обязанности в виду предстоящей перемены условий жизни. На деле оказалось совсем другое. Так как общины в собственных же интересах должны были рекомендовать самых трудолюбивых самых порядочных, то началось похвальное соревнование между общинами ради чести попасть в этот список. Для того, чтобы попасть в обетованную страну, ведь, стоило потрудиться. Откровенно говоря, я и сам не ожидал, что наш план даст такие блестящие результаты. Люди подтянулись, взяли себя в руки. Пред бездольными слабыми людьми засверкала мечта, окрылявшая их нежданными силами.

В первые недели после отъезда Алладино, Варшавского и других, я остался в Лондоне только с главным инженером Фишером, Штейнеком и Вельнером. Тогда мы начертили впервые широкие технические планы. Многие из них теперь уже осуществлены. От некоторых мы должны были отказаться; другие же выполнены гораздо блестящее, чем мы могли ожидать. Я не говорю, что мы создали что‑нибудь такое, чего не было до той поры. Американские, английские, французские, немецкие инженеры предупредили нас в техническом искусстве. Но на Востоке мы были первыми носителями культуры.

Штейнеку я поручил составить планы рабочих домов и станционных зданий. Для первого времени довольно было нескольких дешевых типов. Суть была только в том, чтобы быстро соорудить их. И о красоте внешней отделки тоже в первое время нельзя было думать. Грациозные, изящные и великолепные здания, сооруженные Штейнеком, относятся уже к позднейшему времени.

По его совету, я заказал во Франции пятьсот железных бараков новейшей разборной системы, которые могли быть поставлены в один час. Бараки в половине февраля должны были быть доставлены в Марсель, где Рюбенц должен был их принять. Когда преобладающий тип домов был окончательно выработан, я предоставил Штейнеку скупать строительный материал и собрать персонал помощников и рабочих по собственному усмотрению. Я сказал ему: «Поезжайте немедленно туда на место…» – А он ответил мне: «Я первым делом поеду в Швецию и Финляндию…» Я изумился. Разве путь в Палестину лежит на Швецию и Финляндию? Но он, не пускаясь в дальнейшия объяснения, поехал в Швецию закупать строевой лес.

Затем он объехал Швейцарию, Австрию и Германию и вербовал в высших технических школах молодых людей, заканчивавших свои курсы.

Шесть недель спустя у него уже была в Яффе своя контора, около сотни архитекторов и чертежников, из которых некоторые вскоре выделились своими исключительными способностями. Слух о неожиданном спросе на еврейских техников быстро распространился, благодаря студенческим союзам, по всем высше‑учебным заведениям Старого и Нового света. Перспектива свободного применения своих знаний и сил окрыляла рвением еврейскую молодежь. Восторженная мечта о содействии великому делу возрождения родного народа утраивала их энергию, и они поражали профессоров своими быстрыми успехами.

Лес, который Штейнек закупил в Швеции и Финляндии, и партии железа, заказанного в Австрии и Германии, Рюбенц немедленно отправил в Палестину. Этот человек проявил изумительную находчивость и практичность. Он пользовался самыми неожиданными обстоятельствами, чтобы дешево доставить материалы, пользовался испанскими, греческими, северо‑американскими судами, и казалось, что он увлекается своим экспедиционным делом, как спортом каким‑то. Иной раз он отправлял груз с пароходом, уходившим Бог знает куда, чуть ли не в кругосветное путешествие, но к назначенному сроку необходимый материал всегда был на месте.

Рюбенцу же принадлежит мысль о соглашении с крупными торговыми домами Англии, Франции и Германии. В этих магазинах имелись массы залежалого товара и владетели их, конечно, рады были возможности сбыть их. Для нас же это было значительным облегчением, так как избавляло нас от необходимости заботиться о первых потребностях наших переселенцев, Дела предвиделось много, и экономия времени была для нас существенным вопросом. Поставка кроватей, столов, шкапов, матрацов, подушек, одеял, тарелок, горшков, белья, платьев, обуви – была для нас слишком сложной задачей и мы предоставили ее конкурирующим крупным предпринимателям, которые желали извлечь выгоду из этого дела. Конечно, они не ждали большой наживы от бедных переселенцев. И притом, последние могли покупать необходимые для первого обзаведения вещи только на выплату. Но Новая

Община дала им обеспечение, обязавшись вычитывать известную часть из жалованья служащих и рабочих для уплаты их долгов. Затем наш финансовый комитет тогда только подписал договор с этими торговыми домами, когда они представили обязательный для всех точный и подробный прейскурант.

Таким образом, устранена была, возможность эксплуатации бедных людей, и торговые дома без всякого риска делали огромные обороты. В истории не было еще примера, когда бы поставщики с такой вероятностью могли вычислить количество товара и свои доходы. Несмотря на широкие размеры поставки, конкуренция не прекращалась и вее предметы дешевели. В том случае, если бы какие‑либо магазины нарушили условие и повысили бы цены сверх установленной нормы, мы сложили бы с себя заботы об уплате долгов. Они жестоко поплатились бы за такую попытку.

В то время, как во всех странах европейские общины выбирали лучших своих членов, английские, немецкие и французские фирмы основывали свои отделения в Хайфе, Яффе, Иерихоне и у врат Иерусалима. Туземное население о изумлением глазело на заморские вещи, выставленные в магазинах. Старики неодобрительно качали головами, но магазины, тем не менее, осаждались покупателями, и весть о новых базарах быстро распространилась по Востоку до Дамаска и Алеппо, до Багдада и Персидского залива. Торговля закипела. В виду блестящих результатов, которые дали уже первые месяцы, большие фирмы стали производить наиболее ходкие товары тут же в Палестине; он много выгадывали таким путем, так как местное производство исключало транспортные расходы.

Это было начало нынешней цветущей промышленности. Позднее меня упрекали в том, что я покровительствовал обогащению предпринимателей. Меня за это и в газетах бранили. Но я к этому был совершенно равнодушен. Иначе повести дела нельзя было, и на всякое чиханье не наздравствуешься. Гораздо важнее было, по‑моему, установить такой порядок вещей, при котором каждый чиновник Новой Общины не получал бы ничего, сверх положенного ему жалованья. И в этом я был безпощаден. Всем известно, что я тоже состояния себе не составил. Но обогащение частных предпринимателей могло только послужить нашим интересам. Деньги – великая приманка для людей. Я не отрицаю идеальных побуждений человеческих, но и материальные слишком значительны и с ними нельзя не считаться.

После отъезда Штейнека я занялся планами уже покойного ныне, незабвенного Фишера. Его проекты улиц, водоснабжения, железных дорог, каналов и гаваней – были прямо классические. Тогда же он представил мне проект канала от Средиземного до Мертвого моря и остроумной эксплуатации разницы уровня морей. Один швейцарский инженер, христианин, увлекшиися сионизмом и перешедший в еврейство, был его ближайшим помощником. Великолепные географические карты английского генерального штаба, особенно карты Палестины, изданные Армстронгом, сослужили нам неоценимую службу. В то же время я поднял вопрос об основании первых железнодорожных обществ. Жалкая Яффо‑Иерусалимская дорога, конечно, не могла удовлетворить нашим потребностям. Первым делом мы заручились концессией на береговую линию от Яффы на юг – в Порт‑Санд, на север – в Хайфу, Тир, Сидон и до самого Дамаска. Затем мы наметили ветвь в Иерусалим, Иорданскую дорогу с западными и восточными ответвлениями у Генисаретокого озера, Ливанские дороги. Капиталы собраны были Варшавским в Америкн и Леонкиным в России. Мне пришлось воевать с дирекцией из‑за гарантий. Меня объявили, было, безумцем, так как я предложил гарантировать доходность линий. Но я настоял на своем, и в расчете своем не ошибся, как всем известно теперь. Мы быстро проводили одну дорогу за другой, и в настоящее время они все уже перешли в собственность Новой Общины.

Одним из вопросов первой важности была также закупка рабочего скота. В мою программу входило устройство сельского хозяйства в очень широких размерах. Планы Браунштейна о покупке скота в Австрии и траспорте в Палестину не улыбались мне. Гораздо симпатичнее была мне мысль привести скот из Египта. Но и это связано было с очень большими затруднениями. В течение первых недель я не мог уехать из Египта. Но, узнав, что в Германии появились новые электрические плуги, я немедленно отправился туда. И как только увидел эти плуги, пришел в неописуемый восторг, закупил весь имевшийся у фабрики запас и заказал еще несколько партий. Я считаю электрический плуг самым ценным подарком, который сделал человечеству девятнадцатый век. Не могу забыть до сих пор моей встречи с Браунштейном, когда я вернулся из Германии. Я был вне себя от радости и едва лишь увидел его, говорю ему: «Вы теперь лишний, нам не надо уже быков». – Он растерялся, бедняга. И я только по смеху присутствующих при этой сцене понял, что сказал неловкость, и извинился перед ним.

Но мои слова, конечно, сказаны были в пылу радостного увлечения. Услуги Браунштейна и теперь еще были нужны. Предстояла еще закупка лошадей, коров, овец, домашней птицы и всевозможного корма. И я отправил опять Браунштейна в Голландию, Швецию и Венгрию с полномочием покупать самый лучший дорогой скот.

Вместо волов нам нужно было позаботиться об угле для плугов. Но это уже касалось Рюбенца. Тогда азиатский уголь не был так доступен, как теперь. Рюбенц по телеграфу заказал уголь в Англии, и в двадцать четыре часа он с этим вопросом покончил. Теперь нам и уголь уже не нужен. И локомобиль, который стоит с краю поля, для нас уже остаток старины. В то время еще не было у нас водяной силы – канала Мертвого моря. Теперь же, путем проволок, проведена к плугам сила Иорданских вод, – канала, отведенного от Мертвого моря, Ливанских и Гермонских озер.

Это были в общих чертах первые мои…

Тут профессор Штейнек шумно попросил слова. Давид закрыл фонограф.

– Я хочу сказать несколько слов, – сказал он. – Это скорее литературное, мало относящееся к делу замечаше, и я прошу на меня не пенять. Знаете, что мы слушали сейчас? Новую Хад‑Гадью. Вы понимаете?

Из присутствующих только один Кингскурт не понял профессора и ему объяснили его слова.

Хад‑Гадья, овечка – это последняя полушутливая полуфилософская история в книге, которая читается за пасхальной трапезой. Кошка съедает ягненка, собака разрывает кошку, палка убивает собаку, огонь пожирает палку, вода гасит огонь, вол вьшивает воду, мясник умерщвляет вола, ангел смерти уводит мясника, и всеми правит Бог, начиная от ангела смерти и кончая маленьким ягненочком.

– Тоже – сказал профессор, – и с этой водяной силой. Волов вытесняет уголь, уголь выгесняет вода… И старый Литвак благоговейно повторил:

– И всеми правит Бог, начиная от ангела смерти и кончая ягненочком.

IV

Уже было поздно. Слушатели устали и единодушно решили дальнейшую повесть фонографа отложить до следующего дня. Гости разошлись. Была светлая лунная ночь.

Дорога от виллы старых Литваков к отелю лежала вдоль озера. Кингскурт шел рядом с профессором Штейнеком и предлагал ему вопрос за вопросом. История этого великого переворота в судьбе еврейского народа увлекала его, хотя он при всяком удобном случае подчеркивал, что его интересует, главным образом, только широкое применение культуры старого и нового света. Самая же судьба людей, будь то евреи, христиане или язычники, его нисколько не занимает. Он был и остается человеконенавистником и заботы о ближнем считает величайшей глупостью. Но это переселение евреев ему нравится, как весьма любопытное, массовое, идейное предприятие. И он ждет с нетерпением продолжения фонографической повести. Остальные гости шли парами и группами и оживленно болтали между собой. Сарра, жена Давида Литвака, шла с Фридрихом, который был задумчив, рассеян и невпопад отвечал своей милой спутнице. Она заметила его рассеянность и стала подтрунивать над ним. Тогда он очнулся и сказал:

– Какая ночь! Глядите, как дробится лунный свет на Генисаретском озере! Сказкой веет от этой волшебной ночи – и это действительность! И я мог бы спросить: «Чем отличается эта ночь от других ночей?» – Я понимаю – свободой, в которой человек становится человеком… Ах, фрау Литвак, если бы и я… если бы и я мог внести в это дело лепту своего труда!..

– Почему же вам этого не сделать?

– Это невозможно. Кингскурт скоро уедет.

– Ну что там, – ответила она, смеясь. – Это мы устроим. Вы оба нам принадлежите. Вы – как спаситель нашей семьи, он – как ваш друг. Нет, нет, доктора Левенберга мы отсюда не выпустим, а этого старого ворчуна я постараюсь привязать к Палестине любопытными цепями.

Фридрих расхохотался:

– Да вы никак его женить замышляете?

– Что же, если бы я задумала, я б это устроила. Я б его женила, например, на мистрисс Готланд или на Мириам.

– Ну в отношении старика это шутка несколько злая…

– Мужчина, – серьезно ответила она, – никогда не бывает слишком стар для брака. Это преимущество всегда останется за вами. Впрочем, вашего мистера Кингскурта я удержу другими любовными цепями. Он без ума от моего Фрица.

– Меня это нисколько не удивляет, потому что другого такого Фрица нет. Это, ведь, необыкновенный ребенок.

Фридрих с улыбкой слушал ее наивный панегирик Фрицу и поддакивал ей:

– Конечно, конечно, – удивительный мальчик.

– Он не только красив, – продолжала она, – он и умен, и ласков, и послушен. И вы полагаете, что если я часто буду оставлять Кингскурта с Фрицом, он не привяжется к нему всем сердцем. Увидите, он не в силах будет расстаться с ним и, конечно, не уедет отсюда!

Фридриха трогали до глубины души откровенные материнские восторги этой, обыкновенно очень скромной, умной и тактичной женщины. Но сынишка ее в действительности был премилое создание, и мать, в сущности, даже и не преувеличивала влияние его чар на старого ворчуна. На следующее же утро Фридрих, заглянув случайно в детскую, увидел такую картину: старик полз по полу на четвереньках, а малыш сидел верхом на его спине.

– Он будет кавалерист, отличный кавалерист! – смущенно говорил он, вставая с помощью Фридриха на ноги. – А теперь ступай к своей няне, или я с тобой посчитаюсь, пострел ты этакий!

Но он предпослал своей угрозе такую нежную, милую улыбку, что Фриц только весело взвизгнул и крепко обвил ручонками его колени. Мальчуган не подозревал, что он имеет дело с ярым человеконенавистником, и безпечно отдавал ему всю нежность своего маленького сердца. Когда его хотели послать в гости к старикам, и Кингскурт оставался в отеле, он поднял такой рев, что матери пришлось просить старикае сжалиться над ребенком.

Кингскурт с напускным неудовольствием уступил просьбам матери, что‑то ворчал, но когда Фриц при виде его просветлел, он не мог дольше выдерживать роль я радостно разсмеялся.

Давид и Сара вышли из дому вслед за ним и видели, как старик, шагая за спиною няни, дурачился и смешил мальчика, который подпрыгивал и вскрикивал: «Отто! Отто!»

Пока Фридрих бодрствовал, старый «Отто» ни делать ничего не мог, ни с кем‑либо говорить. И лишь когда маленький деспот уснул, он заявил о своем желании услышать продолжение доклада Иоэ Леви. На этот раз слушателей было меньше. Мистрис Готланд, стоявшая во главее общины сестер милосердия, была у больного. Священник из Сефориса еще утром вернулся домой. Патер Игнатий тоже не был свободен в этот день. Братья Штейнеки должны были притти поздней. Давид распорядился, чтобы фонограф перенесли в гостиную, примыкавшую к комнате больной матери. Ей было немного лучше, и кресло ее выкатили в гостиную. Она сидела и слушала с грустной улыбкой на восковом лице. У ног ее, на низеньком пуфе сидела Мириам, и ласково гдадила ее руку. Старый Литвак и Кингскурт удобно уседись в широкие мягкие кресла. Решид‑бей помог Давиду установить фонограф, и оба заняли места за столом. М‑р Гопкинс и Фридрих примостились на маленьком диванчике в углу. Отсюда Фридрих видел перед собою изящную фигуру Мириам, ласкавшую глаз красотою линий, а дальше, в окна – волнистые очертания холмов, громоздившихся над блестящим озером.

Давид вставил валик, и голос Иоэ Леви начал опять с той фразы, на которой он остановился накануну:

«Таковы, в общих чертах, первые мои начинания.

Машина была пущена в ход. Алладино сообщал о покупке земель самые благоприятные сведения. Штейнек писал, что в марте он откроет кирпичный завод новейшей системы и цементную фабрику. Варшавский и Леонкин извещали, что в еврейских общинах России и Америки бодрое настроение растет. Броунштейн и Кон тем временем запасались семенами и скупали рабочий скот.

«Надо было подумать также о том, как привлечь в Палестину, кроме неимущих бедствующих масс, и высшие, в экономическом отношении, слои еврейства.

Этих – трудовая помощь или непосредственная денежная поддержка не могли прельщать. Для них надо было придумать другую приманку. Я воспользовался идеей египетского хедива, Измаила. Каждый, кто брался выстроить дом стоимостью не менее тридцати тысяч франков, получал данный участок земли в полную собственность. Тоже сделал и я, но выговорив обратный переход земельной собственности к общине пятьдесят лет спустя. Египет обязан своим прелестным Каиром только остроумной мысли хедива. Как только идея льготы распространена была нашими доверенными, со всех концов света стали поступать в нашу лондонскую контору заявления о желании строиться. Главный секретарь Вельмер, вместе с главным инженером Фишером, выработали строительный устав. Планы Хайфы, Яффы, Тибериады и других городов утверждены были дирекцией еще до отъезда Штейнека. Архитектор наш представил и несколько типов изящных изданий. Мы эти планы вместе с прейскурантами разослали во множестве экземпляров во все страны, всем изъявлявшим о желании основаться в Палестине. Впрочем, планы эти ни к чему их не обязывали. Они по ним могли во всяком случае, получить представление о том, что и за какие деньги можно выстроить. Первое распределение земельных участков должно было состояться весною, 21‑го марта. При чем должны были быть удовлетворены заявления, поступившие только до первого марта. Главным условием такого договора было вступление приобретавшего землю членом в общую артель наших иммигрантов и взнос в кассу Новой Общины третьей части стоимости постройки наличными деньгами или ценными бумагами. Если он сам не мог явиться к этому дню в Палестину, то он должен был указать представителя своих интересов. Взнос мог быть возвращен, как только начата будет постройка. Земельные участки распределял комитет, выбранный прибывшими в Палестину и желавшими строиться из своей же среды. Некоторые приобретали землю группами, и таким отдавалось предпочтение перед отдельными личностями, так как первые брали на себя более значительные обязательства, как проведение улиц, дорог, канализация, освещение, водоснабжение. На случай всяких недоразумений и протестов со стороны иммигрантов, учреждено было бюро из пятидесяти юристов и молодых кандидатов прав из разных стран. Нам нужно было такое космополитическое бюро еще в виду обильной корреспонденции, которая велась на всех языках.

«Самой главной частью корреспонденции были сведения, которые приходилось сообщать разным предпринимателям и крупным промышленникам. Юридическое отделение Цельнера работало рука об руку о техническим департаментом Фишера. Мы напечатали в газетах всех стран, что предприниматели, пожелавшие основать с некоторым капиталом какое‑либо предприятие в одной приморской стране, получат самые подробные справки насчет условий производства и сбыта, советы, указания и даже машины в кредит. Каждая почта привозила нам вороха писем. Первое время ответы были несложные, так как большинство писем заключало только вопросы о географическом положении страны… Но вскоре из многих тысяч корреспондентов выделилось несколько сот серьезных дельцов. Среди них были не только евреи. Вначале евреев вовсе не было, а преимущественно протестантские немцы и англичане, так как они – самые сильные и самые смелые колониальные предприниматели в мире. Вопроса о национальности или вероисповедании для нас в данном случае не существовало. Мы шли навстречу каждому, изъявлявшему желание трудиться в стране израильской. Техническое бюро и справочная контора немедленно и добросовестно отвечали на все запросы.

«Разумеется, и мы собирали сведения насчет тех лиц, с которыми мы решались войти в какие‑либо соглашения. Предприниматели, обращавшиеся в нам, избегали рискованных попыток.

«Они узнавали от нас, на каких пунктах существует или предвидится сильная конкуренция. В интересах нашей Новой Общины было, чтобы все предприятия, которые затевались в нашей стране, удавались. Поэтому мы оказывали свободным предпринимателям такую поддержку, точно они радели о наших интересах. Из этих запросов и ответов создалась целая статистика, которой мы очень многим обязаны. Благодаря ей, мы достигли теперешнего экономического состояния – свободы промышленности без перепроизводства, и благоустройства без гнета и принудительных мер.

«Когда я наладил это дело и много других первой важности, я затеял одну преинтересную штуку…»

В это мгновенье больная фрау Литвак сделала знак сыну. Давид тотчас же остановил фонограф и подбежал к матери. Она устала и хотела лечь. Давид и Мириам с заботливой осторожностью выкатили ее кресло в смежную комнату. V

Давид скоро вернулся и спросил друзей: желательно ли им слушать продолжение повести. Все ответили утвердительно. Он опять завел фонограф, и невидимый Иоэ Леви опять зоговорил:

»… я затеял одну преинтересную штуку. Вначале на это смотрели, как на потеху, как на спорт, и всячески критиковали. Я снарядил «Корабль мудрых». Я хотел послать его впереди возвращающихся евреев в старую, новую нашу страну. Уже одно появление его в средиземных водах должно было ознаменовать наступление новой эпохи. Устройство такой поездки было делом не трудным. Я обратился к директору одного английского общества по устройству круговых путешествий, и через две недели он сообщил мне подробный план, приблизительную стоимость такой поездки и все подробные условия. По его же совету я нанял в одном итальянском судоходном обществе элегантный пароход, «Будущность», совершавший обыкновенно рейсы между Неаполем и Александрией. Пароход должен был прибыть в Геную к 15‑му марта и на шесть недель поступал в наше распоряжение. Затем я заказал комнаты для пятисот пассажиров в лучших отелях итальянских, египетских, малоазиатоких и греческих городов. На пароход можно было сесть и в Генуе, в в Неаполе. Билеты пассажиров давали им право проезда по всем итальянским железным дорогам и пребывания в первоклассных отелях. Экспедиция эта имела как будто характер увеселительной поездки на Восток. Но значение ее было гораздо глубже. Дамы и мужчины, которых мы пригласили, принадлежали к высшей интеллектуальной аристократии культурного мира. Комитет из писателей и художников составил список этих почетных гостей. Мы пригласили самых выдающихся, самых значительных людей всего мира, разумеется, без различия национальности и вероисповедания. И все откликнулись на наше приглашение, не потому только, что их пленяла эта поездка на восток; главным образом, всем улыбалось продолжительное пребывание в обществе интересных и близких по духу людей. На «Будущности» встретились поэты и философы, изобретатели и открыватели, исследователи и художники, социологи, экономисты, политические деятели и журналисты. Они, конечно, окружены были всеми доступными в то время удобствами и комфортом. Ничего не было забыто – начиная от оркестра музыки и до ежедневной газеты, издававшейся тут же на пароходе. О том выдающемся интересе, который представляла эта газета, я распространяться не стану. За это говорит уже состав пассажиров, из которых большинство принимало участие в этой газете. Во всех гаванях на «Будущность» доставлялись телеграммы со всех концов мира. На следующее же утро все эти телеграммы уже были в газете. Но интереснее всего был литературный отдел, потому что все пережитое за день, все виденное, описывалось талантливейшими людьми. В газете же появлялись ежедневно беседы, которые велись за столом; их назвали новейшими диалогами Платона. В них разбирались величайшие проблемы. Даровитейшие, ученейшие люди высказывали свои взгляды на все вопросы, волновавшие тогда культурное человечество. Я приведу только некоторые темы этих бесед. Говорили об устройствее общины, которая отвечала бы всем требованиям современной культуры и справедливости, о воспитательном значении искусства, об организации благотворительности, об обеспечении рабочих, о роли женщины в современном обществе, о развитии научной и практической техники. Эти беседы на «Будущности» давно уже стали драгоценностью мировой литературы. Я познакомился с ними уже в печати, потому что лично присутствовать при этих беседах у меня не было возможности. Я давно уже был в Хайфе, когда «Будущность» находилась еще в Генуе. Но газету, издававшуюся на пароходе, я читал с восторгом, с увлечением. Я не философ, не поэт, и в то время отвлеченные вопросы меньше всего меня занимали.

«Но то, что можно было извлечь из бесед на «Будущности» для практического осуществления, я находил и с успеехом это применял, потому что мне представлялось, что с «Будущности» гений человеечества дает советы еврейскому народу, начинавшему новое существование. Особенно поучительны стали эти беседы, когда наши высокие гости прибыли в Палестину. Путешественники разбились на группы, ездили по стране, делали наблюдения, и затем взаимно делились впечатлениями. Разные группы посвящали свое внимание разным предметам.

«Геологи интересовались одним, электротехники – другим. Ботаники изучали флору страны, художники, пейзажисты и жанристы искали ландшафтов и типов. Экономисты изучали экономические условия страны, другие – местное население, нравы, обычаи.

«Не трудно представить себе, сколько глубины ума и блеска было в беседах, когда группы пассажиров опять сходились за общим столом на пароходе. Я их до сих пор еще почти слово в слово на память знаю. На меня большее впечатление оказали советы художников, вероятно, потому, что я сам совершенно лишен художественного чутья. Художникам «Будущности» я обязан мыслью о культивировании красоты в нашей стране. Она должна была быть, красива, прежде всего красива, потому что красота – величайшая отрада для человеческой души.

«Когда «Будущность» была уже у наших берегов, я находился в средней области Палестины. Фишер, Штейнек и Алладино приветствовали в Хайфе гостей от имени Новой Общины. Я хотел представиться нашим гостям, как только покончу с самыми неотложными делами. Это было горячее время, и работать приходилось без перерыва. Я дни и ночи был в разъездах и часто даже ночь проводил в своем автомобиле, перевозившем меня с одного места на другое. Везде шли спешные работы, и везде нужен был присмотр. Хотя все делалось по точно разработанному плану, и люди у нас были надежные, но я желал лично убедиться, все ли предписания исполняются.

«В то же время я поддерживал постояннное сообщение с моей главной квартирой в Хайфе. Оттуда я получал известия, которые заставляли меня совершать самые непредвиденные экскурсии. Бывали и недоразумения с рабочими, которые мне приходилось разбирать. При распределении земельных участков запутывались часто гордиевы узлы, которые я один мог разрубать.

«На полях, приобретенных Новой Общиной, уже шли деятельные полевые работы. Мы основали сельско‑хозяйственную производительную артель по образцу Рахалинской артели, но для наших переселенцев дело было еще новое, и нужна была авторитетная импонирующая сила, для того, чтобы удержать в движении заведенную машину. Задача эта была не сложная, но требовала неустанной бдительности.

«Сеять пшеницу, ячмень, овес, маис – хоть искусство не Бог весть какое, но и тут затруднений было не мало. Приходилось, первым делом, бороться с почвой. Но у нас были новейшие технические средства и упорная человеческая воля, и мы победили ее, и она стала нашим другом.

«Рабочий день равнялся всего семи часам, но это были часы упорного интенсивного труда. Одни проводили дороги, другие рыли каналы, третьи очищали землю от камней, четвертые строили дома, пятые сажали деревья, и так дальше. И каждый знал, что он работает для всех и все работают для него. Работа кипела. Пробуждалась природа от зимнего сна, пробуждались люди от долгого рабства, и все, что они делали и созидали, вдохновлялось надеждой на свободную светлую жизнь. Успехи росли с каждым днем, и с каждым днем расширялась область работ.

«Первым делом, я начал проводить телеграфную и телефонную сеть. Для всеобщего пользования она, конечно, еще не скоро могла быть готова, но для служебных це лей мы в самом непродолжительном времени уже стали пользоваться ею. Ежедневно стали прибывать во все города от Хайфы и до Бейрута партии иммигрантов количеством в пятьсот, тысячу, две тысячи человек. На следующий же день их отправляли в намеченные уже раньше пункты, и они тотчас же принимались за работу. Для одних железнодорожных работ требовались десятки тысяч людей. Не меньше и для постройки общественных зданий, как: административных, торговых учреждений, школ, больниц и проч. За работы по проведению дорог, каналов, постройке общественных зданий рабочие получали не только вознаграждение, за вычетом долгов, выплачивавшихся Общиной магазинам, за приобретенные переселенцами вещи, но и право на позднейшее обзаведение домами и хозяйством. Человек, по прибытии в Палестину прямо из гавани отправлявшийся на какие‑либо работы, к осени уже мог поселиться в выстроенном для него домике в какой‑нибудь колонии и выписать свою семью. Задача, как я говорил уже, была не сложная, – нужен был только план, нужна была организация. Европейские военные державы разрешали в девятнадцатом столетии и не такие задачи. Они должны были заботиться о миллионах людей, которые не всегда доверчиво и доброжелательно относились к правительственным мерам. Нам же до осени предстояло устроить только полмиллиона народа; до того же времени пора была горячая, страдная – мы работали все рука об руку, на родной земле, земле наших предков, окрыленные все одними мечтами и желаниями. В виду отсутствия запретительных мер, широко стала развиваться промышленность и торговля. По всей стране частные предприниматели строили фабрики, которые должны были быть закончены к осени.

«Каждый разумный человек понимал, какие блестящие перспективы открываются для промышленности, в виду предвидевшегося многочисленного населения, сбыта, географического положения страны и обилия предполагавшихся портов. И когда я после первой жатвы, которая не была еще вполне удовлетворительной по результатам, сделал обзор всему положению вещей, я не нашел надобности остановить осенью иммиграционное движение, как предполагалось раньше. Я телеграфировал об этом во все страны главным представителям сионистских кружков, и сообщение вызвало энтузиазм в еврейских общинах. Нашу первую жатву я считаю первой победой нашей Новой Общины; потом были жатвы богатые, обильные, но никогда уже мы не пожинали так много, как в первый год. Потому что мы пожинали тогда доверие наших братьев. Едва двенадцать месяцев прошло с теех пор, как я учредил в Лондоне свой генеральный штаб, и мог уже сказать друзьям в нашей квартире в Хайфе, что первый год дал хорошие результаты.

«Здание для главного правления в Хайфе к осени уже было готово, но внутри еще не было отделано; перейти туда из временной квартиры предполагалось только весною.

«Очередным вопросом было в то время применение водяных сил, не говоря уже о водоснабжении и проведении каналов. Канал Мертвого моря и его ответвления достаточно красноречиво говорят о том, что наши инженеры даром времени не теряли.

«В то же время и другой благодетельный поток хлынул в нашу страну: капитал и кредит. Вместе с сельскохозяйственными производительными артелями мы ввели у нас также земельный кредит. Раньше полагали, что мы истощим наш фонд, если дадим нашим иммигрантам дома и службы, поля, машины, лошадей, коров, овец, птицу, экипажи, орудия, съестные припасы и семена. Устройство каждой семьи, взятой средним числом из пяти членов, обходилось в шестьсот фунтов стерлингов. На потребности тысячи таких семейств требовалось сто двадцать миллионов марок. Но те, которые высказывали сомнение насчет успеха нашего дела, упустили из виду, что переселенцы сами по себе представляют огромную экономическую ценность, и что наличность ценностей открывает кредит. Словом: чем более прибывало иммигрантов, тем более мы получали денег.

«Но я, однако, уклоняюсь от того времени, о котором хотел вам рассказать. В то время «Будущность» еще стояла у наших берегов. Я рвался к ней всей душой и мечтал, наконец, в Яффо осуществить свою мечту и познакомиться с нашими избранными гостями. Вдруг получаю известие, требовавшее моего немедленного отъезда в Константинополь для переговоров с турецким правительством. Там дела задержали меня дольше, чем я предполагал, и, когда я возвращался в Палестину на своей яхте, я заметил, когда мы огибали остров Кипр, голубой дымок на горизонте. У меня сжалось сердце, я подумал, что это убегает на север «Будущность» и я так и не увижу ее. Моя догадка подтвердилась. Я узнал об этом с глубоким сокрушением уже в Бейруте! И с тех пор я лелею заветное желание присутствовать, по крайней мере, при вторичном ее приезде. Потому что тогда решено было, что через двадцать пять лет «Будущность» опять будет у наших берегов. Но это будет уже новое великолепное судно с тем же названием. И гости будут не все те же, так как многие из первых гостей уже умерли; а кроме оставшихся в живых, мы пригласим еще тех, что за это время оказали крупные культурные услуги человечеству. И каждые двадцать пять лет «Будущность» будет привозить к нам такой ареопаг, советы и мнения которого мы будем принимать с благодарностью и благоговением. Мы будем показывать им всю нашу страну, и гости «Будущности» будут нашими судьями. И если они опять приедут, и Господь на этот раз сподобит меня увидеть их, и они найдут, что Иосиф Леви свою простую, но трудную задачу более или менее добросовестно выполнил, – тогда я выйду в отставку.

«И когда я умру, похороните меня рядом с моим незабвенным другом Фишером, там, на Кармельском кладбище, откуда открывается вид на дорогую мою родину…мое любимое море».

VI

Голос замолк. Последние слова глубоко растрогали слушателей.

Кингскурт громко откашлялся и сказал:

– Должно быть, чудесный малый, ваш Иоэ! Чудесный малый! Жаль, что его нет здесь. С удовольствием пожал бы ему руку, – но надеюсь все‑таки удастся повидать его до отъезда… вот этим каналом‑то Мертвого моря он прямо меня ошарашил. Это никак восьмое чудо мира, а? Как бы нам на него поглазеть, на этот сказочный канал?…

Давид обещался показать им его в первые дни после пасхальной недели. Пасху они проводили в Тибериаде в оживленных беседах, прелестных прогулках и с каждым днем все ближе сходились друг с другом. Кингскурт с отчаянной реешимостыю уплетал опресноки, не переставая ворчать на то, что ему христианину и немецкому дворянину, грозит совершенно ожидоветь среди этих варваров, к которым он попал. Целые потоки ворчливых фраз он изливал и на маленького Фрица, притязания которого на «Отто» с каждым днем принимали все более деспотический характер. Этот общий маленький баловень полагал, что Кингскурту на старости лет ничего больше делать не остается, как исполнять прихоти маленького повесы. Но старый ворчун разрешал себе, однако, споры, прогулки, осмотры достопримечательностей, лишь когда Фриц спал, и все планы откладывались на неопределенный срок, как только тоненький голосок призывал к себе своего «Отто». Когда по истечении пасхальной недели стали проектировать поездку в Иерихон чрез Иорданскую долину, и Давид предложил жене оставить на это время ребенка у стариков, Кингскурт решительно этому воспротивился и заявил, что если мальчика не возьмут в эту поездку, то он вовсе откажется от удовольствия видеть канал Мертвого моря. При этом он со свирепым видом уверял, что ему совершенно безразлично: останется ли Фриц в Тибериаде или пойдет с ними, но он не понимает такого варварского отношения к ребенку. Решено было взять и мальчика.

Архитектор Штейнек и Решид‑бей тем временем вернулись в Хайфу. Решид хотел повидать своих, но пообещал друзьям в Иерусалиме опять примкнуть к ним. Архитектору предстояло много дела на приближавшихся выборах делегатов на конгресс. Как сообщали газеты и люди, осведомленые о ходе дела, партия д‑ра Гейера делала невероятные усилия, чтобы заручиться голосами. И архитектору необходимо было быть в Хайфе, где сосредоточивались нити агитационной деятельности и откуда ежечасно по телеграфу и по телефону сообщались указания местным комитетам. Давиду же надо было съездить по личным делам, и он предложил своим гостям поехать вместе с ним, благо они и там могли увидеть немало интересного. Фридрих охотно принял предложение, тем более, что к Давиду присоединились Мириам и профессор Штейнек. Кингскурт же решил остаться в Тибериаде, потому что, по его мнению, Сара и м‑с Готланд не могли одни уехать в Безон. Все поняли его трогательное желание остаться подольше с маленьким Фрицом, но сделали вид, что вполне разделяют его мнение.

Через два дня все общество опять должно было встретиться в Иорданской долине. Решено было, что Сара, м‑с Готланд и мальчик с няней поедут в автомобиле в Джолан и там будут ждать своих спутников.

Электрический нарядный катер перевозил остальных участников поездки на противоположный берег Генисаретского озера. Был мягкий весенний день. Вода тихо рябила. Светлые виллы Тибериады уменьшались и бледнели; подвигались крутые обрывы восточного берега. На северной части сверкал Гермон со своими вечными снегами, всевозможные суда легко и живописно скользили по озеру. Катер вошел в небольшую бухту и причалил к берегу, До железнодорожной станции было всего несколько шагов, и через несколько минут электрический поезд мчал их в Эль‑Кунетру. У Давида были там какие‑то дела. Поезд делал заметный подъем, так как до Эль‑Кунетры он должен был одолеть высоту в тысячу метров над уровнем моря. Этот город, как узловая станция железных дорог в восточно‑иорданской области, достиг крупного значения.

Когда Давид вышел о своими друзьями из вагона, они увидели стоявший на другом пути поезд, отходивший в Бейрут. Из окон одного вагона несся хор юношеских голосов. Это были мальчики в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет.

– Очевидно, летняя экскурсия? – спросил Фридрих.

– Да‑с, экскурсия! Маленькая экскурсия – вокруг света, – ответил профессор Штейнек.

И Мириам объяснила изумленным слушателям, что это была за школьная поездка. Идея этих поездок была заимствована у французских бенедиктинцев, которые еще в конце прошедшего столетия посылали группы учеников под присмотром учителей в чужие страны. Там молодые люди изучали языки и иноземную жизнь. Эта молодежь была развитее и содержательнее молодежи прежних лет. Образование, которое они получали, было не только основательное, но и экономное. Община получала совершенно готовых, приспособленных к жизни людей, и затраты на эти путешествия быстро окупались. В состав таких поездок включались самые лучшие ученики всех учебных учреждений страны, потому что тратиться на ленивых и мало даровитых мальчиков не имела смысла. Но для подрастающих поколений надежда попасть в школьную поездку стала высшим стимулом к усердию. Ведомство народного просвещения безупречно урегулировало устройство этих поездок. Новая Община имеет во многих городах различных посещаемых стран отличные школьные здания, снабженные всеми необходимыми приспособлениями для обучения и содержания детеи. Выбираются для местопребывания обыкновенно небольшие тихие города вблизи столиц, или предместья. Во Франции, например, ученики наши живут в Версале. Это во всех отношениях лучше жизни в крупных центрах. Каждое из этих учреждений находится под ведением директора, который всегда остается на месте службы, группы же учеников со своими классными наставниками через каждые три месяца меняют местопребывание.

Таким образом мальчики знакомятся с миром, не прерывая хода занятий.

– А девушки? – спросил Фридрих.

– Девушки в этих путешествиях не участвуют, – сказала Мириам. – Мы полагаем, что место подрастающих девушек – в семье, на родине, где они могут исполнять свои общественные обязанности.

Пока Давид занимался своими делами, Мириам, Фридрих и професор Штейнек совершили прогулку по оживленному городу, осмотрели базары, на которых восточный колорит отразился очень мало, – они были, в сущности, отделениями европейских торговых домов. Когда они пришли поужинать в английский отель, Фридрих не удивлялся больше изысканному комфорту, который они встречали на каждом шагу. Они разошлись довольно рано, так как решили на следующий день подняться пораньше и поехать осмотреть хлебные амбары.

Было чудесное утро, с мягкими теплыми тонами. Электрический поезд вынес их в чарующий ландшафт. Фридрих почувствовал в себе весенние переживания ранней юности. Новая жизнь загоралась в нем при виде мирного труда на полях. Он едва решался признаться себе, что и близость красивой Мириам счастливо влияла на его настроение. Она предупредительно и чутко объясняла все, на чем останавливалось его внимание. Давид и Штейнек давали ему обстоятельные технические объяснения. Они находились в этой части восточно‑иорданской области на своеобразной водораздельной линии. Фридрих, изучавший в свое время юриспруденцию, стоял, как и большинство среднеобразованных людей той эпохи, вдали от технического движения девятнадцатого столетия. Деятельность закрытых и открытых фабрик была ему совершенно незнакома. «Открытыми фабриками» Штейнек называл новейшие сельскохозяйственные машины, которыми они любовались из окон вагона. Эта местность представляла собою водораздельную линию, потому что здесь встречались воды с севера и с юга.

Фридрих думал, что старый ученый шутит, говоря о воде, бежавшей вверх. Но он скоро убедился, что на этот раз он говорит вполне серьезно. Сила волн гнала воду вверх: теперь не было больше надобности ставить мельничные колеса прямо под водяным стоком. Река, стремившаяся по уклону на протяжении пятнадцати, двадцати миль, двигала колеса, потому что ее сила вводилась в проволоки электрическим током. В конце девятнадцатого столетия эта задача была почти решена. В Америке водяная сила уже двадцать лет тому назад широко применялась. От Ниагары проведен был электрический ток на протяжении 162 километров. От Сен‑Бернардинских гор шел ток в город Лос‑Анджело в южной Калифорнии.

– Мы не преминули и эту мудрость позаимствовать у американцев и стали эксплуатировать водяные силы южного канала Мертвого моря и горных источников Ливана и Гермона.

– Истинными основателями нашей страны, – продолжал Давид – были водяные техники. Осушение болот, орошение бесплодных пространств и система водяных путей – вот что было основанием нашей культуры.

Через полтора часа езды они приехали к месту образцового хозяйства, которое велось на большие средства благотворительным учреждением под высшим присмотром Общины. Директор этого огромного богатого предприятия водил их по великолепным отделениям усадьбы и давал объяснения. Особенное удивление

Фридриха вызвала центральная электрическая станция подле директорского дома. Все стены покрыты были пуговками, углублениями, нумерами и дощечками. Две молодые изящные дамы совершали над ними какие‑то манипуляции по указанию господина, стоявшего за пультом и поминутно подносившего к ушам телефонную трубку. Фридрих вопомнил, что видел уже такой зал в центральной телефонной станции. Директор объяснил ему, что посредством управляемых проволок отсюда направляется во все места хозяйства водяная сила. Из этого зала снабжаются водяной силой не только лоди, но и все входящие в хозяйство промышленные отделения: сахарный завод, пивоварня, винокуренный завод, мельница, крахмальная фабрика и проч.

Хозяйственные службы, которые они осматривали, дороги, поля, фабрики, устроены были по последнему слову сельскохозяйственной науки, везде царили чистота и порядок, и вся огромная хозяйственная машина работала ровно и бесшумно. Фридрих остановил свое внимание на группе рабочих, проходивших мимо. Они были все одинаково одеты, у одних лица были хмурые, у других вид был робкий, угнетенный. За ними шли надсмотрщики, которые отдали директору честь по военному.

– Мы до сих пор столько удивлялись и восхищались, – сказал Фридрих, – что, быть может, вы соблаговолите выслушать и критическое замечание.

– Конечно, – ответил Давид, – в чем дело?

– Мне эти рабочие кажутся очень угнетенными, словно великолепные машины, которым они служат, подавляют их. И к чему вся эта блестящая постановка дела, если люди не чувствуют себя счастливыми в этих условиях? Я вспомнил при виде людей – фабричных рабочих прежних времен. Правда, у этих вид не такой печальный и, во всяком случае, более здоровый, но какое‑то сходство меж ними есть. И меня это удручает. Тем более, что эта усадьба принадлежит благотворительному обществу. Мне кажется, что люди здесь должны глядеть веселей. Откровенно говоря, я несколько разочарован.

Директор о удивлением взглянул на него и обратился к остальным спутникам.

– Разве доктор Левенберг не знает, где он находится?

– Нет, – сказал Давид. – Мы умышленно утаили это от него, для того, чтобы невольное пробуждение не ослабило впечатления. Мы хотели изумить его тем, что это образцовое хозяйство – только колония для преступников.

– Возможно ли? – воскликнул Фридрих. – Это колония для преступников? Это, конечно, меняет мой взгляд на дело. Какие же у вас результаты наблюдаются?

– Преступники выздоравливают здесь и нравственно, и физически, – ответил директор. – Большинство начинает любить деревенскую жизнь и не желает возвращаться к другой. Отбыв наказание, они охотно остаются здесь и переходят в разряд платных рабочих, или же поселяются на вновь приобретаемых ими участках земли. Чистый доход с предприятия идет на покупку этих колоний, которые уже через несколько лет начинают погашать затраченные на них суммы. Мы из отбросов общества вновь создаем людей…

Из Безана они уже всем обществом отправились дальше в автомобиле. Дорога их лежала через южную часть Иорданской долины. Отличное шоссе часто огибало извилистое русло реки. Иорданская долина была вся в весеннем цвету, поля покрывала яркая пышная зелень. С восточных и западных холмов блестели живописные колонии и болыше и маленькие города. От времени до времени проносились поезда. Движение по шоссе было довольно оживленное. Большинство иностранцев, проводивших зиму в известном на весь мир курорте, Иерихоне, в это время уже возвращались оттуда. Здесь, в Иорданской долине было уже слишком тепло для баловней судьбы, убегавших из Европы от суровой зимы. Навстречу часто попадались автомобили с оживлеными элегантными пассажирами. Они ехали в противоположную сторону, на север, потому что самым модным местом в весеннем сезоне считался Ливан. В конце апреля эта изысканная публика уезжала в Бейрут и оттуда возвращалась в Европу, если не предпочитала более короткий путь на Константинополь в курьерских поездах мало‑азиатской дороги.

Но в Иорданской долине, которую покидали избалованные жуиры, оставалось еще много жизни, сверкающей и ликующей.

Иорданские поля, отлично обрабатываемые, благодаря искусному ведению хозяйства, приносят наибольшие доходы. Рис, сахарный тростник, табак и хлопчатая бумага дают на этой почве великолепные урожаи.

Водяные техники блестяще применили здесь свое искусство. В печальные времена забвения этой отраны, дождевые ручьи, стекавшие с восточных гор, пропадали безплодно. Благодаря простой, хорошо известной в культурных странах системе шлюзов, получилась возможность каждую каплю, падающую с неба использовать для общего блага. И, таким образом, в старой‑новой родине евреев опять потекли молочные и медовые реки, и она опять стала тем. чем была: Обетованною землей.

Кингскурт и Левенберг не уставали восторгаться и любоваться пышными садами, парками, прелестными дачами и мраморными виллами, тянувшимися на всем протяжении пути в Иерихон. И когда они приехали, наконец, в этот элегантный городок, – вечно брюзжащий, вечно критикующий и резонирующий Кугель замер в немом восхищении перед великолепием и обилием отелей, вилл и дворцов, выступавших из пальмовых рощ и прелестных групп тропических деревьев. Красота этой климатической станции превзошла все его ожидания.

Перед одним из отелей они остановились. Кингскурт, не выходя из автомобиля, просил Давида показать ему в тот же день канал Мертвого моря. Дамы, с уснувшим, к счастью Кингскурта, мальчиком, вышли из экипажа, а мужчины поехали дальше. Перед ними расстилалась светло‑синяя гладь Мертвого моря. Уже на значительном расстоянии от главной станции водяной силы слышен был оглушительный шум: воды канала, проводимые через туннели из Средиземного моря, пенящимися каскадами падали вниз. Давид давал своим гостям краткие объяснения. Мертвое море, как известно, считалось самым глубоким местом на земном шаре; его поверхность находилась на 394 метра ниже уровня Средиземного моря. Воспользоваться этой огромной разницей в уровне для источника водяной силы было самой простой мыслью в мире. На всем протяжении пути от Средиземного моря канал терял всего каких‑нибудь восемьдесят метров. Оставалось еще свыше трехсот метров высоты падения, при ширине в десять и глубине в три метра. Канал давал около пятидесяти тысяч лошадиных сил.

Кингскурт заметил:

– В этом нет ничего для меня удивительного. Водопад Ниагары уже в мое время давал сорок тысяч лошадиных сил.

– С Ниагарой канал Мертвого моря никоим образом сравнивать нельзя, – ответил Давид. – В Ниагаре имеются огромные массы воды. Но мне кажется, что снабжение разных станций Иорданской долины и вдоль Мертвого моря полумиллионом лошадиных сил кое‑чего стоит.

– Все это очень мило, – сказал Кингскурт – я одного только не понимаю. Теперь в Мертвое море вливаются, стало быть, воды, не имеющие истока. Что же, у вас тут и законы испарения другие?

– Вопрос неглупый. – ответил ему Штейнек. – Надо вам знать, что мы столько же отнимаем у Мертвого моря воды, сколько вводим в него. Мы выкачиваем, например, пресную воду и употребляем ее для орошения почвы, где она в такой же степени необходима, в какой здесь излишня. Теперь вы поняли?

– Понял, понял! – крикнул в ответ Кингскурт, стараясь перекричать шум водопада, к которому они приближались. – Вы дьявольски ловкий народ, – одно могу вам сказать.

Когда они подъехали к станции, перед ними открылся вид на Мертвое море. широкое и голубое, как Женевское озеро. На правом берегу, где они стояли, с правой стороны тянулась узкая полоса земли до скалы, с которой слетали воды водопада. Внизу находились турбины, наверху длинный ряд фабричных зданий. Водяные силы служили всевозможным видам производства. Канал оживил все побережье Мертвого моря. При виде железных труб, из которых воды падали на колеса турбин, Кингскурт вспомнил устройство водяных станций на Ниагаре здесь, на Мертвом море было около двадцати колоссальных железных труб, выступавших из скалы на одинаковых расстояниях друг от друга. Трубы стояли отвесно над турбинами и казались фантастическими дымовыми трубами. Но оглушительный гул и белая пена воды говорили о циклопической работе, совершавшейся в ней. Фридрих был поражен, изумлен этой картиной, Кингскурт же выкрикивал восторжевные замечания и на этот раз был по‑видимому вполне удовлетворен. Отсюда дикая укрощенная сила природы переходила в провода электрического тока, в проволоки и развивалась по всей возрожденной стране, и создала из нее сплошной сад, ликующую родину для людей, несчастных некогда, слабых, безпомощных и бездомных….

– Я подавлен этим величием! – вымолвил наконец Фридрих.

– Вас раздавила великая сила, – серьезно ответил Давид – нас она возродила!

## КНИГА ПЯТАЯ.

ИЕРУСАЛИМ I

Когда‑то Фридрих и Кингскурт прехали в Иерусалим ночью и с запада, теперь они приехали днем и с востока. Когда‑то они видели на этих холмах грустный заброшенный город, теперь перед ними лежал обновленный, сверкавший великолепием. Когда‑то здесь был мертвый, теперь возрожденный Иерусалим.

Они приехали из Иерихона и вышли на оливковой горе, на старой дивной горе, с которой открывался вид на далекие пространства. Это были еще священные места человечества, еще высились памятники, созданные верою разных времен и народов, но ко всему этому прибавилось еще что‑то новое, мощное, радостное: жизнь! Иерусалим стал огромным телом и дышал жизнью. Но старый город, насколько можно было видеть с этой горы, мало изменился. Они видели церковь у гроба Господня, мечеть и другие купола и крыши старинных зданий. Но рядом с ними выросло что‑то новое, великолепное. Это новое, сверкающее, огромное здание, был так называемый дворец мира. От старого города веяло безмятежным покоем. Но вокруг него развертывалась совершенно иная картина. Здесь вырос современный город, изрезанный электрическими дорогами; широкие, окаймленные деревьями улицы, сады, бульвары, парки, учебные учреждении, торговые рады, и великолепные общественные и театральные здания. Давид объяснял назначение выступавших из общей массы зданий.

Это был мировой город, по последнему слову культуры двадцатого столетия.

Но взгляды путешественников невольно обращались поминутно к старому городу. Он лежал по другую сторону кедровой долины, весь залитый солнечным блеском, и было что‑то торжественное в этом безмолвном сиянии. Кингскурт, получив от Давида ответы на все вопросы, спросил про огромное роскошное здание, сверкавшее золотом и ослепительно белым мрамором. Это был целый лес мраморных колонн с золотыми капителяии, поддерживавшими купол. И Фридрих с глубоким волнением услышал из уст Давида слова:

– Это храм!

В пятницу вечером Фридрих Левенберг в первый раз отправился в Иерусалимский храм. Фридрих шел с Мириам впереди, за ними шли Давид и Сара. По мере приближения к старому городу, шум и оживление замирали. Количество экипажей заметно уменьшалось, магазины закрывались. Над шумным городом медленно и торжественно спускался субботний покой. В синогоги шли толпы людей. Кроме большого храма, как в старом, так и в новом городе еще рассеяны были многие храмы невидимого Бога, дух которого израильский народ свято оберегал в своей душе, в своих долговечных скитаниях. Лишь только они переступили вековую ограду старого города, ими овладело благоговейное настроение. В этих стенах следа не было той неопрятности и суеты, которую Кингскурт и Левенберг видели здесь двадцать лет тому назад. Тогда богомольцы разных вероисповеданий чувствовали себя глубоко‑оскорбленными, когда они, после долгой езды, достигали цели своих стремлений, такую удручающую картину представлял тогда вид запущенных улиц. Теперь все улицы и переулки были вымощены новыми гладкими плитами. Частных домов в старом городе теперь не было. Все здания заняты были богоугодными и благотворительными учреждениями. Здесь были подворья для богомольцев разных вероисповеданий. Христиане, магометане и евреи имели здесь свои благотворительные учреждения, больницы, санатории, тянувшиеся пестрыми рядами. Торжественный величавый дворец мира занимал огромное четвероугольное пространство, в котором собирались конгрессы друзей мира и ученых. Старый город стал интернациональным местом, родным углом для всех народов, потому что здесь нашло себе приют «самое человеческое»: – страдание.

И здесь сосредоточены были все виды помощи, которыми человечество облегчало страдания: вера, любовь и наука.

Мириам и Фридрих опередили старика, который, опираясь на палку, с трудом передвигал ноги. Мириам поклонилась ему, и старик примкнул к отставшей паре, к Давиду и Саре, которые ради него замедлили шаги.

– Этот старик тоже здесь обрел душевный мир, – сказала Мириам своему спутнику, – Попросите как‑нибудь Давида, чтобы он рассказал вам его историю. Они случайно познакомились в Париже. Давид ездил туда по своим делам. Как вы успели уже, вероятно, убедиться, Давид умеет очаровывать людей. Этот несметно богатый в то время Арман Эфраим тоже почувствовал к нему большую симпатию и привязался к нему более, нежели к своим родным, которые только выжидали его смерти, рисовавшей им приятную перспективу наследства. Арман Эфраим всю свою жизнь только зарабатывал деньги и тратил их на свои утехи. Но, наконец, он состарился. Наслаждения больше не прельщали. А в его утомленном мозгу не зарождалась ни одна мысль о том, куда девать свои капиталы.

Одно только он сознавал: своих веселых наследников он наследством не порадует. Тогда Давид внушил ему поехать в Иерусалим. Старик приехал сюда, и Давид повел его во дворец мира. Это великолепное здание с течением времени стало центральным пунктом обсуждения общечеловеческих интересов, не одних только еврейских. Нам удалось разрешить несколько проблем, которые не мало смущали человечество в прежние времена. Но на земле еще слишком много скорби, и облегчать ее можно лишь соединенными нравственными усилиями. Во дворце мира вы можете наблюдать эту дружную мировую работу. Когда где‑нибудь на свете совершается катастрофа – пожар, наводнение, голод, эпидемия, – то немедленно телеграфируют об этом сюда. Помощь оказывается всегда в широких размерах, так как сюда стекаются как просьбы о помощи, так и все нужные для нее денежные суммы. Постоянная комиссия, члены которой выбираются из разных стран, наблюдает за справедливым и целесообразным распределением помощи. Сюда же обращаются также за поддержкой изобретатели, художники, артисты и ученые. Всех привлекает надпись над воротами храма: Nil humani a me alienum puto.» – И они, действительно, получают возможную поддержку, если оказываются достойными ее…

И здесь Арман Эфраим нашел удовлетворение которое сулил ему Давид. Он с удовольствием посещает заседания коммисии, в которых докладывается о вновь поступивших извещениях о требующейся помощи и оставляет каждый раз зал заседаний с облегченным карманом. После его смерти все его состояние перейдет на дела благотворительности.

Фридрих, смеясь, заметил:

– В таком случае, его родственники, пожалуй, искренне будут горевать.

Они остановились, чтобы подождать следовавших за ними. Старик, покашливая, рассказывал Саре и Давиду. «А пятьсот фунтов стерлингов я уделил одному приюту для брошенных лондонских детей. В общем сто тысяч франков сегодня – ха, ха, ха – недурной денек! – Если бы я не был здесь, один из моих племянников быть может столько же проиграл бы на скачках сегодня. По крайней мере, я получил удовольствие, и наследники мои не будут ликовать, ха, ха, ха… Смеюсь я, – ха, ха, ха… И лондонские малыши будут смеятьоя. Несчастные детишки.»

Они подходили в эту минуту к Иерусалимскому храму. Он был восстановлен во всем своем древнем великолепии. Сара и Мириам прошли в женское отделение. Фридрих и Давид стояли в задних рядах.

Под мощными сводами торжественно звучало пенье и звуки лютней; глубокое волнение охватило Фридриха. Как во сне проносились перед ним картины его собственной жизни и прошлого его родного народа. Молящиеся вокруг него шептали молитвы. Он вспомнил «еврейские мелодии Генриха Гейне». Да, Гейне, как истинный поэт чувствовал сколько романтизма в судьбе его народа. И вдохновенное проникновение в народную немецкую поэзию нисколько не мешало ему находить красоту в еврейских мелодиях. Фридрих вспомнил позорное время, когда евреи стыдились всего еврейского. Они полагали, что выигрывают в чужих глазах, скрывая свое происхождение. Но именно этот скверный стыд бросал на них тень лакейства и позорной приниженности. И они еще удивлялись презрению, с которым к ним относились, когда у них самих не было ни капли уважения к себе. Они пресмыкались перед другими, и презрение к ним было возмездием за самоунижение. И в своем странном ослеплении они этого не замечали. Те, которые пробивали себе дорогу, устраивались, делали дела, отпадали от веры своих отцов и скрывали свое происхождение, как позорное пятно. И если отпавшие от еврейства стыдились отцов и матерей своих, то очевидно, это еврейство должно было быть чем‑то очень постыдным. На них смотрели как на беглецов из прокаженной местности, и держали их в карантине. В средние века крещеных евреев звали в Испании беглыми…

И еврейство падало все глубже и глубже. Оно воплощало собою весь ужас несчаотья, страдания и унижения!..

И теперь это еврейство возродилось! Возродилось потому, что евреи перестали стыдиться его. Не только бедные, слабые, неудачники слились в одном чувстве солидарности. Нет, и сильные, свободные, даровитые вернулись на родину и получили больше, чем дали. Другие народы были им благодарны за то великое, что они давали человечеству. Еврейство же желало от них только верности своему племени. Человечество благодарно каждому великому за его лепту в духовную сокровищницу человечества; он должен вносить свою лепту. Лишь отчий кров ждет сына, одного его присутствия, и счастлив одним этим…

И Фридрих, погруженный в размышления, навеянные еврейскими мелодиями, постиг значение этого храма. Когда‑то, в царствование царя Соломона, храм, разукрашенный золотом и драгоценными каменьями, олицетворял собою гордость и силу Израиля. Храм отделан был кедровым, кипарисовым, оливковым деревом и бронзой и был дивной отрадой для глаз. Но как это ни было великолепно по понятиям того времени, не об этом же здании евреи скорбели в течение восемнадцати веков. Нет, они скорбели о чем‑то невидимом, что собою лишь символизировал великолепный храм. И это невидимое Фридрих чувствовал в восстановленном иерусалимским храме. Светло и радостно было у него на душе.

Вернувшиеся сыновья древнего народа господа Бога стояли на родной земле и возносили свои души к невидимому.

Они молились с большим или меньшим благоговением во многих храмах земного шара, в богатых и скромных. Но их невидимый Бог, вездесущий, везде должен был быть им одинаково близок или далек. Но храм был все‑таки лишь здесь.

Почему?

Потому что лишь здесь они могли сплотиться в свободную общину и сообща стремиться к благороднейшим целям человечества. В прежние времена они знавали солидарность лишь под гнетом преследований, в гетто. Позднее они узнали свободу, когда культурные народы признали за ними человеческие права.

Когда‑то они были бесправные, лишние, униженные. И когда они вернулись из улиц гетто, они перестали быть евреями, и стали опять людьми. И тогда они опять воздвигнули храм Невидимому, Всемогущему, Которого дети иначе представляют себе, нежели мудрецы, но Который присутствует везде и всегда. Когда они по окончании службы, вышли из храма, и здоровые, спокойные, свободные люди приветствовали друг друга с наступившим праздником, Фридрих Левенберг сказал Давиду:

– Да, конечно, вы были правы, указав мне с Масличной горы это здание. Это – храм!..

II

В ближайшее воскресенье во всей стране происходили выборы делегатов.

Давид в ночь с субботы на воскресенье уехал в Хайфу, чтобы руководить оттуда движением. Партия Гейера ни перед чем не останавливалась для достижения успеха. Газеты Гейера ежедневно сообщали в нескольких добавочных листках результаты голосования, причем к сообщению присовокуплялись разные смутные намеки. Одна из этих нечистоплотных газеток особенно преследовала главного директора Новой общины, Иосифа Леви. Говорилось о неограниченной власти этого человека над миллионами членов новой общины. Автор статьи подчеркивал, что он ничуть не желает обвинить в чем‑нибудь Иосифа Леви; вопрос идет только об общем благе, о достатке, добытом тяжелым трудом народа, о существовании дорогой нам общины. Все это писалось в слащавом тоне и приправлялось библейскими изречениями. Профессор Штейнек, получивший этот листок в присутствии Кингскурта, побагровел при чтении и стал неистово ругаться:

– О, ты, скотина!.. Негодяй!.. Ты… Ты… Коршун!.. Этот негодяй прекрасно знает, что наш Иоэ воплощенная честность. Он знает, что Иоэ всю свою душу вложил в наше дело. И этот мерзавец смеет еще упоминать его имя своими нечистыми устами – и это все ввиду предстоящих выборов – вы понимаете? Чтобы повлиять на избирателей…

Он гневно разорвал листок на куски и вышвырнул их в окно.

Кингскурт рассмеялся:

– Понимаю ли я! Дорогой профессор, как же не понимать! Слава Богу, пожили немного, и прекрасно понимаем, что за подлые скоты эти люди: откровенно говоря, я многому не верил из всего, что я слышал здесь и что мне рассказывали – слишком уже сказочной представлялась мне вся эта история. Но теперь я вижу, что у вас есть и мерзавцы. А это меняет дело – стало быть, всего понемножку. Тогда я и в хорошее готов поверить.

В доме Литвака, впрочем, немного говорили о политике, как ни трудно было избегать этой злободневной темы.

Семья Давида и его друзья жалели его за его увлечение политической борьбой. Но он уверял, что после выборов опять вернется к своим обычным занятиям.

По предложению Мириам весь кружок в день выборов отправился в одну художественную мастерскую. Ателье художника Изака находилось в тихой восточной окраине нового города и известно было своими драгоценными произведениями искусства. Изак любил изящное интеллигентное общество, и праздники, которые он часто давал на своей вилле, славились своей изысканностью. В вестибюле, стеклянную крышу которого поддерживали мраморные колонны с золочеными капителями стены покрыты были старинными гобеленами. Здесь же стояло несколько превосходных копий античной скульптуры. Мраморный портик с видом в прелестный сад, в котором из зелени пальм под пышными клумбами цветов белели прелестные мраморные группы, навеял на посетителей воспоминания о сказках Шехеразады. Посреди вымощенного широкими плитами круга, живописно уставленного изящной и разнообразной гнутой мебелью, играл фонтан, и вода с тихим плеском падала в широкий бассейн. Из портика вели во внутренние комнаты высокие резные двери. В ту минуту, когда они любовались волшебной картиной, двери мастерской открылись, и оттуда, в сопровождении красивой изысканной пары, вышел художник, которому доложили о приезде гостей. Профессор Штейнек представил Фридриха, а Изак назвал господина и даму, которые находились у него: лорд Судбюри и леди Лилиан, его жена, с которой художник рисовал портрет. Изаку было на вид лет сорок. Он держал себя с приятной непринужденностью и достоинством, Во всех его движениях сквозила изящная простота, обнаруживавшая в нем привычку к хорошему обществу.

На прежней своей родине художник Изак был забитым, несчастным еврейским мальчиком и только благодаря своему таланту достиг настоящего положения.

Слуга принес освежительные напитки. Мужчины закурили сигары из чудесного душистого табаку, и художник не без гордости сообщил, что это палестинский табак, известный под названием «Цветы Иордана».

Леди Лилиан меж тем подошла к Мириам, с которой уже раньше была знакома, и о чем‑то тихо попросила ее. Мириам как будто уклонялась от исполнения какой‑то просьбы и милой улыбкой смягчала свой отказ. Фридрих не мог отвести глаз от этих двух женских фигур, стоявших у золоченой решетки сада. Мириам, небольшого роста, с темными волосами, тонкая, стройная нисколько не проигрывала при сравнении с высокой изысканно одетой английской леди. И Фридрих с удовольствием и гордостью переводил глаза с знатной английской дамы на милую еврейскую девушку. Они обе медленно вышли в сад, и Фридрих с радостью пошел бы за ними, если бы беседующие не обращались преимущественно к нему. Ему говорили о вещах, о которых он еще не знал: о роли искусства и философии в новой общине.

Лишь теперь, слушая красивый, звучный голос художника, Фридриху пришло в голову, что на самые важные вопросы ему еще никто до сих пор ответа не давал. Он видел храм и электрические машины, старый народ и новые формы его общественной жизни. Но какое место занимали, и каково было здесь значение искусства и науки? Еще в прежние времена многие усматривали в сионическом движении тормоз для проявления художественных сил еврейского народа и потому считали движение это реакционным, противным прогрессу. Из слов художника Фридрих убедился, насколько близоруки были эти предположения. В Новой Общине царила прежде всего свобода совести. Каждый мог молиться своему Богу и искал ли он единения с Ним в храме иудейском, в церкви, в мечети, в художественных музеях или филармонических концертах, до этого Община совершенно не касалась.

На средства одного богатого американца, находившегося в качестве гостя на корабле «Будущность», учреждена была академия по типу французской. Число членов, как и во дворце Мазарини, было сорок, и если за смертью одного из них кресло освобождалось, то остальные члены выбирали достойнейшего преемника. Члены получали содержание, которое совершенно освобождало их от всяких житейских забот, и они могли спокойно предаваться занятиям искусством, философией или наукой.

И разумеется, эти сорок членов совершенно свободны были от национального шовинизма. Когда этот институт был учрежден, первыми его членами были люди разных стран, разных культур, и они здесь встретились и сблизились, как братья по духу.

Первым положением устава еврейской академии было:

«Еврейская академия ставит себе задачей отмечать заслуги выдающихся людей перед человечеством». Сорок членов еврейской академии составляли также орденский капитул в Иерусалиме.

Фридрих на многих уже видел этот значок, но не обратил на него внимания.

– Вы не думайте, милый доктор, – сказал художник –что глупого тщеславия ради учредили этот орден. Чести нужна обменная монета, это понимали законодатели всех времен. И мы в свою очередь не пренебрегли этим отличием, имеющим такое значение в глазах большой толпы.

– Высшие степени отличия даются очень редко. Президент нашей академии –гроссмейстер, сорок членов, составляющих также орденский капитул, далекие от всяких частных, партийных и политических интересов. Так что, как видите, какие‑либо выгоды из своего положения они извлекать не могут. За удачные аферы мы нашим орденом не награждаем.

– Цвет значка должен напоминать нам о тяжелых временах, пережитых нашим народом. Из желтого пятна, которым клеймили наших несчастных и стойких в несчастьи отцов, из позорного знака, мы сделали почетное отличие.

– Вы поняли? – воскликнул Штейнек. Фридрих задумчиво кивнул головой. В эту минуту слуга доложил о приходе доктора Маркуса. Художник быстро встал и пошел навстречу старику с длинной белой бородой.

– Вы явились, доктор, как волк в басне, – сказал он и представил Фридриха и лорда Судбюри.

– Доктор Маркус –президент академии…Я сейчас только рассказывал моим дорогим гостям про нашу академио. Лорд Судбюри был уже несколько осведомлен, но для доктора Левенберга, хотя он и еврей, все это ново.

Доктор Маркус удивился.

Фридрих в нескольких словах изложил ему свою биографию.

Президент академии внимательно выслушал его, и, покачивая головой, добавил:

– Двадцать лет тому назад! Да, да, я понимаю ваше изумление. А между тем все, что вы видите у нас, уже существовало. Вы помните слова Коэлета:

«Что случилось? То, что случится потом. Что здесь сделали? То, что сделано будет потом. И нет ничего нового под солнцем»…

– Позвольте, дорогой президент! – воскликнул Штейнек. – Да ведь это понимать надо только cum grano salis. Не все же, что есть, уже было. И не все уже за нами, что еще ждет нас впереди. Я напомню вам не Коэлета, а Стоктон‑Дарлингтон. Вы понимаете?

– Стоктон‑Дарлингтон? – повторил англичанин. – Вы говорите по‑видимому о первой железнодорожной ветке, которую построил Стефенсон сто лет тому назад?

– Конечно, милорд! – ответил профессор. – Мы несколько дней тому назад решили в академии предложить всему цивилизованному миру достойным образом отпраздновать в 1925 году столетнюю годовщину со дня проведения Стефенсоном первой железной дороги. В ту минуту, когда исполнится сто лет, все паровозы всех железных дорог земного шара должны дать три сигнальных свистка. И на всем земном шаре, все люди, которые будут сидеть в эту минуту в вагонах, будут думать о Стефенсоне… Вы согласитесь, дорогой лрезидент, что мудрость Коэлета меркнет на расстоянии между Стоктоном и Дарлингтоном.

Доктор Маркус ласково ответил:

– Охотно соглашаюсь, тем более, что я этого и не оспаривал. Меня только радует мысль, что все то что было хорошего, конечно, я вижу и в настоящее время. И будущее уже существует, и я его знаю: хорошее, одно хорошее. Эта мысль – это отрада моих последних дней. Я из одних и тех же предпосылок прихожу к другому заключению, нежели сын Давида, древний царь иудейский. Но быть может и у царя Соломона была та же мысль, хотя он говорил, что все суета, и хотя он задавал себе вопрос, какую награду получает человек за все свои труды и печали.

– Все суета, несомненно, если смотреть на мир с роковой точки зрения нашей собственной личности. Но все важно, все значительно, если мы нашу личность выделим из круга обобщений. Тогда и мечты мои вечны, потому. что, когда меня уже не будет, другие о том же будут мечтать. Красота и мудрость никогда не умирают, даже когда умирают те, которые вошли с ними в жизнь. Мы должны проникнуться верой в вечность красоты и мудрости, как убедились уже в вечности энергии. Разве погибло искусство жизнерадостных эллинов? Нет, оно возрождается в другие эпохи. Разве устарели афоризмы наших мудрецов? Нисколько, хотя бы и в свете более счастливого времени они не выделялись так ярко, так заметно, как во мраке несчаотья. В этом отношении они равны всем огням… И что же из этого следует? А то, что мы должны стремиться к увеличению суммы красоты на земле до последнего мгновения. Потому что земля – это мы сами. «Земля еси и в землю отыдеши»…

Все замолкли после слов доктора Маркуса. Каждый думал свою думу. И вдруг из‑за закрытых дверей вторгнулись в тишину красивые широкие звуки. Чей‑то женский голос пел.

– Кто это поет? – тихо спросил Фридрих.

– Как? неужели вы не знаете? – изумился художник. – Да ведь это Мириам. – Он встал и безшумно открыл двери в зал, в который перед тем ушли обе дамы. Мириам, не подозревавшая, что ее слушают, пела лэди Лилиан и Шумана, и Рубинштейна, и Вагнера, Верди, и Гуно. Одна за другой лились дивные мелодии, и Фридрих Левенберг почувствовал себя счастливым среди этих сильным духом людей, которые просто и благородно осуществляли благороднейшие цели жизни: мудрость и красоту.

И когда Мириам запела его любимую, мечтательно грустную песню Миньоны:

«Kenst du das Land, wo die Citronen bl?men…»

Фридрих прошептал:

– Здесь, здесь эта страна!

Дома Мириам и Фридрих ждал неприятный сюрприз. Общий баловень и любимец, маленький Фриц опасно заболел. Больше всех растерялся и волновался Кингскурт. В течение нескольких дней и ночей, несмотря на все увещевания и просьбы, он не отходил от кроватки больного ребенка. И когда, наконец, в одну ночь мальчик уснул спокойным, ровным сном, старый ворчун отвел Левенберга в угол и сказал:

– Фриц, если эта крошка выздоровееет, я останусь здесь навсегда. Даю вам торжественную клятву. Это мой обет…

И он сдержал слово. Как только ребенок стал поправляться, и все домашние начали приходить в себя, Кингскурт первый заговорил об осуществлении своего решения, по своему обыкновению неловко и трогательно объясняя его. Фридрих со смехом его прервал.

– Да мотивировка, Кингскурт, дело второстепенное. Важен факт. Когда же мы заявим о нашем желании вступить в новую общину?

III

Они решили сделать это немедленно. И так как они давно хотели навестить президента Айхенштама, который еще при первой встрече в Хайфе их приглашал, то и отправились к нему, имея главным образом в виду спросить у него совета относительно вступления в новую общину. Дом, в котором он жил, напоминал палаццо генуэзских патрициев. Почти одновременно с их экипажем у подъезда остановился автомобиль, из которого вышли два пожилых господина и профессор Штейнек. Профессор поднимался уже по лестнице, когда услыхал голоса обоих друзей, вступивших в какие‑то переговоры с швейцаром. Он кивнул им головой, и это приветствие имело магическое действие; швейцар тотчас же предупредительно открыл перед ними двери. Штейнек исчез во внутренних комнатах. Кингскурт и Фридрих спросили доктора Веркина, секретаря президента.

Слуга провел их в контору и попросил их там обождать. Прошло несколько минут. Кингскурт начал выражать нетерпение. Молодой человек, переписывавший что‑то на машинке, сообщил им, что доктор Веркин уже часа два у президента, который внезапно опасно занемог.

– Вот он что! Потому‑то и Штейнек так быстро исчез! – воскликнул Кингскурт. – А не знаете ли, драгоценнйший, кто эти господа, с которыми приехал Штейнек?

– Да это профессора Сионского университета.

– Я думаю, Кингскурт, – сказал Фридрих, – нам лучше бы уйти. Мы оставим визитные карточки доктору Веркину и придем опять, когда президент в состоянии будет нас принять.

Они ушли. В городе еще ничего о болезни президента не знали. На улицах царило обычное оживление. Обогнув один из бульваров, они вышли к большому английскому парку, к которому примыкало большое здание с надписью: «Департамент здоровья».

Кингскурт громко рассмеялся.

– Поглядите‑ка, это опять должно быть что‑то очень интересное. Очевидно, это подражание немецкому министерству народного здравия. Тут и расспрашивать не о чем. Ясно, как день. Это мозаика – моисеевская мозаика. Удачная острота, э?

– Как все ваши остроты, м‑р Кингскурт; не хуже, и не лучше других. – Но мне кажется, что величие «Обновленной земли» нисколько не умаляется тем обстоятельством, что все, что мы видим здесь, уже существовало раньше. Силы природы были достаточно исследованы. Существовали и технические средства; точно так же каждому образованному человеку 1900 года были уже известны социальные проблемы, которые мы видим здесь осуществленными. Точно также были уже известны формы артельного производства и потребления, и все же из всего старого создалось нечто совершенно новое. Эта возрожденная страна больше, несравненно больше, нежели объединение всех социальных и технических успехов.

– Почему? Я нахожу, что и это одно уже очень мило, – вставил Кингскурт.

– Как юрист, как европеец конца девятнадцатого столетия я спрашиваю себя, каким образом это общество удерживает равновесие.

– Ну, это меня нисколько не удивляет. Меня больше всего удивляют деревья! Этим деревьям не меньше сорока‑пятидесяти лет. Каким образом они сюда попали?

Он так громко говорил, что проходивший мимо господин, слышавший его слова, улыбнулся в остановился. Кингскурт, конечно, тотчас заговорил с ним:

– Я вижу, что мои слова привели вас в отличное настроение духа. Не будете ли вы так любезны ответить мне на мой вопрос?

– С удовольствием – ответил тот. – Вам, несомненно, известно, что можно рассаживать и подросшие деревья. В Кельне, например, где я раньше жил, в одном народном саду, посадили сорокалетние деревья. Это, конечно, стоит недешево, но у нас, вообще, на нужды и потребности населения денег не жалеют. Такие расходы окупаются будущими поколениями. Впрочем, мы не везде сажали старые и дорогие деревья. Мы выписали из Австралии много молодых деревьев, много эвкалиптов, которые растут очень быстро.

– Благодарю вас, – сказал Кингскурт. – Это мне многое уяснило. Не можете ли вы также объяснить мне, откуда все эти детишки, играющие на лужайках. Он указал на многочисленных девочек и мальчиков, игравших в лаун‑теннис, крокет и серсо.

Незнакомец предупредительно ответил:

– Это воспитанники институтов, примыкающих своими зданиями к этому парку. Все классы попеременно выводятся сюда для атлетических игр, которые мы считаем такой же важной статьей воспитания, как и учение.

– Но это, повидимому, лишь дети состоятельных людей? – спросил Фридрих. – Они все такие нарядные, опрятные.

– Нет, ничуть! В наших школах нет никаких отличий меж воспитанниками, кроме степеней таланта и трудолюбия, и каждому воздается должное по его заслугам. Но условия для всех одинаковы. В прежние времена дети отвечали за неудачи своих родителей, не имевших возможности давать им образование… У нас всем представлена возможность учиться. И во всех наших учебных заведениях, начиная от начальных школ и кончая университетом, обучение даровое, и до получения аттестата зрелости все воспитанники носят одинаковое платье… Однако, я заговорился с вами, простите, меня ждут дела. И, вежливо поклонившись им, он удалился.

Фридрих и Кингскурт еще любовались несколько минут веселой и резвой толпою детей. Кингскурт не прочь был бы принять участие в играх, если бы Левенберг не увлек его домой. Вести о здоровьи Айхенштамма были печальные. Штейнек прислал Давиду Литваку краткое сообщение: «Безнадежен», И, когда он пришел вечером, все по лицу его догадались о случившемся.

– Он умер, как умирают великие люди, – сказал профессор Штейнек. – Я был подле него до последней минуты. Он говорил о смерти. Он говорил, что смерть не страшна тому, кто так часто, как он, видал ее перед собою. «Я чувствую, – говорил он, – что теряю сознание. Я еще слышу свой голос, но все слабее и слабее. Я буду еще быть может думать, когда не буду уже в силах говорить. Я уже простился с собою, как жаль, что я не могу проститься со всеми, кого я любил». Потом он замолк, и неподвижно гдядел в пространотво. Вдруг он опять остановил глаза на мне. «У меня были друзья, – сказал он. – Много друзей. Где они? Друзья – это богатство жизни. У меня было много, много друзей. Где они»? Они замолк, и мне казалось, что его затуманенные глаза говорили: ты видишь, я не могу уже говорить, но я еще думаю. И, наконец, он сделал последнее усилие и отчетливо произнес слова, которые я часто слышал от него:

«И чтоб каждый иностранец чувствовал себя у нас, как дома»!…

– Затем глаза его остановились. Я их ему закрыл. Так умер Айхенштамм, президент новой общины.

IV

На восьмой день после торжественных похорон Айхенштамма, созван был конгресс для выборов президента новой общины. Почти все четыреста делегатов, и женщины в том же числе, прибыли еще накануне назначенного дня. В клубах и отелях велись горячие обсуждения. В предшествовавший выборам вечер у доктора Маркуса, президента академии и у Иоэ Леви, директора новой общины, было почти одинаковое количество голосов.

Иосиф Леви еще не вернулся из Европы, но его ждали с минуты на минуту. Некоторые говорили, что в случае избрания его, он от этой чести откажется. Другие утверждали, что слухи эти распространяются сторонниками д‑ра Маркуса.

Словом, как везде и всегда, вокруг выборных интересов возникла борьба, интрига, споры и пререкания. Кингскурта это очень занимало.

В упомянутый день, утром Давид Литвак с взволнованным лицом вошел в комнату Фридриха и сообщил, что получил известие об осложнившейся болезни матери.

– Вы без меня пойдете на конгресс. Я тотчас же уезжаю в Тибериаду с Мириам. Жена и Фрицхен приедут поздней.

– Не поехать ли и нам с вами? – участливо спросил Левенберг

– Ах, вы ничем ей не поможете… Я думаю, что никто тут не поможет… Оставайтесь ради конгресса – для вас это будет интересное зрелище. А я теперь ко всему равнодушен, пусть выбирают, кого им угодно.

Кингскурт сказал:

– Мы проводим вашу жену и Фрицхен до Тибериады.

– Благодарю вас! – Не говорите только пожалуйста никому о моем отъезде. Бывают в жизни моменты, когда и друзья лишние. Меня будут осаждать выражениями участия. Я хочу быть один… Прощайте!

После отъезда Давида и Мириам друзья отправились в дом конгресса. Над огромным зданием развевались белые флаги, окаймленные черным флером, по случаю недавней кончины Айхенштамма.

Выборы должны были происходить в большом высоком, строгого стиля мраморном зале с матово‑стеклянным плафоном. Скамьи еще были пусты, потому что делегаты еще совещались в кулуарах и примыкавших к ним комнатах.

Но галлереи уже были переполнены. В ложах было более дам, нежели мужчин. Туалеты, по случаю национального траура, преобладали темные. Только в одной ложе подле Кингскурта и Левенберга сидели несколько дам в очень светлых платьях и огромных ярких шляпах. Здесь были обе Вейнбергер, Шлезингеры, доктор Вальтер, молодая и старая Лашнер, Шифман и непременные члены этого кружка, остряки Грюн и Блау. Фридриху очень хотелось уйти в другую ложу, но нигде больше места не было. Кингскурта, впрочем, эта компания забавляла, и он не хотел искать другого места.

– Когда я слушаю этих господ – шепнул ему Фридрих на ухо, – у меня является желание вернуться с вами на наш остров.

– О, о, о!.. Ну, я умнее вас. Я знаю, что в лучшем зверинце есть также клетка обезьян. Ну и в людском обществе есть такая же клетка.

В зале началось оживление. Делегаты занимали места. С правой стороны, в группе женских делегатов ораторствовала м‑с Готланд. Она принадлежала к партии доктора Маркуса. Архитектор Штейнек агитировал в пользу Иоэ Леви. Он стоял у подножия трибуны, и в возраставшем гуле голосов резко выделялись его вскрикивания: «Ио, Ио!»

Решид‑бей зашел в ложу Кингскурта и Фридриха и сообщил им последний результат совещаний в кулуарах. Перевес голосов был на стороне Иоэ Леви. Он был очень популярен во всей стране, столь обязанной ему своим процветанием, и делегаты считались с этим, между тем как доктор Маркус был близок и дорог главным образом наиболее интеллигентной части общества. Иосиф Леви, впрочем, уже вернулся и наверно скоро придет на собрание.

– Вы нам тотчас же укажите его, если он придет – сказал Кингскурт. Должно быть очень интересный господин. Любопытно посмотреть, как он себя будет держать.

В клетке обезьян плоско и пошло острили, злословили и судачили.

Прозвенел звонок, возвещавший открытие конгресса. На галлереях разговоры мгновенно стихли. Делегаты наполнили зал.

– Вот Иоэ Леви! – сказал Решид‑бей. – Вот этот с седыми, щетинистыми усами, с лысиной. Вот, он подает руку архитектору Штейнеку.

Это был худощавый человек, среднего роста, очень смуглый, быстрый и энергичный в движениях. Делегаты окружили его плотным кольцом. Десятки рук с приветствиями протягивались к нему. Он держался очень непринужденно, и вид у него был совсем не торжественный.

Раздался второй продолжительный звонок, все заняли места. В то же мгновение распахнулись на трибуне золоченые двери, и оттуда вышел председатель конгресса со всем своим штатом.

Первым делом, он почтил память покойного президента прекрасной речью, которую все выслушали молча.

Потом он объявил:

– Мы собрались сюда для выборов нового президента.

– Я прошу слова! – ко всеобщему изумлению крикнул Иосиф Леви.

– Слово за Иосифом Леви, – сказал председатель.

Иосиф Леви быстро и легко взошел на трибуну и начал:

– Многоуважаемые члены конгресса! Я должен сказать только несколько слов. В моем отсутствии некоторые мои друзья выставили мою кандидатуру, не спросив меня, следует ли это делать.

Шум восклицаний покрыл его слова.

– К порядку – крикнул архитектор Штейнек. Иосиф Леви повторил:

– Я должен сказать только несколько слов. Это слишком большая честь для меня. И я хочу избавить конгресс от номинальных выборов и потери времени. Потому что, если вы удостоите меня чести избрания в президенты, я от этой чести откажусь. Это решено.

– Но почему? Почему? – раздалось со всех сторон.

– По очень простой причине. Я еще чувствую в себе силы работать, и если вы довольны мною, предоставьте мне возможность работать. Если вы выберете меня, вы этим самым дадите мне отставку. Я думаю что для этого, я, несмотря на свои седые волосы, еще слишком молод. Доктор Маркус вам обстоятельнее изложит мое мнение. Мы с ним уже столковались. Но решение мое неизменно. Благодарю вас, друзья, за ваши добрые намерения. Многоуважаемые члены конгресса, не выбирайте меня.

В зале возбуждение возрастало. Слышны были восклицания неудовольствия, изумления, разочарования. Иоэ Леви забрасывали вопросами. Он улыбался и пожимал плечами. В клетке обезьян пошло и плоско острили.

– Он мне нравится, – сказал Кингскурт. – Говорить он не мастер, но нет сомнения, это честный человек.

Председатель громко позвонил. В зале опять воцарилась тишина, и на трибуну не без труда взошел престарелый доктор Маркус.

– Почтенное собрание! – начал он. – Мой друг Леви говорил уже о необходимой экономии времени. Первым делом, надо столковаться, и тогда мы легко придем к какому‑нибудь решению. Мы здесь собрались не для выборов главы государства. Мы не государство, мы община. Мы просто одна большая артель, вмещающая в себе множество других меньших специальных артелей. И этот конгресс не более, как общее собрание артели, называемой Новой Общиной. Но мы все чувствуем, что вопрос идет не о чисто‑материальных интересах производительной или хозяйственной артели. Мы создаем парки, школы, мы заботимся столько же о полезности вещей, сколько об их мудрости и красоте. Мы понимаем, что для общины людей, идеал – это польза, выгода, скажем ясней – он необходим. Идеал – залог прогресса. Это старо, как мир. То, что для отдельного индивида хлеб и вода, то для общины – идеал. И наш сионизм, который привел нас сюда и поведет нас еще выше, в неведомую область добра, это ничто иное, как бесконечный, безконечный идеал.

– Вы полагаете, вероятно, что я уклоняюсь от сути дела? Нисколько. Я говорю о настоящих выборах. Тот, кого мы выберем главою нашей общины, должен быть хранителем идеала. Это должен быть уравновешенный, честный, умный человек, далекий от страстей злободневных интересов. Мы выбираем его на семь лет. Иосиф Леви отказался от этой чести, потому что надеется оказать нам своей деятельностью большую услугу, чем в роли президента. Я того же мнения, что и он. Но я снимаю свою кандидатуру. Я слишком стар. Я не надеюсь прожить еще семь лет. Частые выборы не хороши уже тем, что возбуждают страсти, ожесточенную партийность. Не выбирайте меня, я слишком стар. И быть может, я перестаю понимать идеалы молодого поколения. Потому что и идеалы подвержены законам вечного обновления.

– Но мы с Леви решили предложить вам кандидата. Это еще молодой человек. Это один из тех людей, которые возделывали и оплодотворяли нашу землю. Он шел за плугом рядом со своим отцом, но он и над книгами сидел. У него много здравого смысла и твердой воли. Я не вижу его в зале, но если он и здесь, то уж, конечно, менее всех принимает на свой счет мои слова. Избрав его, трудом, умом и волей пробившего себе дорогу в жизнь, мы в глазах всей молодежи этим отличием оценим значение в общественной жизни нравственных качеств и бескорыстной честной души. Каждый сын Венеции мог быть дожем. Каждый член Новой Общины должен надеяться на достижение высшего положения.

Шумные выражения одобрения покрыли слова старика.

– Имя! Имя! – кричали многие.

– Его имя, – сказал доктор Маркус, – я не могу произнести с трибуны, потому что избирательный закон запрещает навязывать с трибуны кандидата. Я попрошу председателя прервать на несколько мгновений заседание.

Делегаты в сильном возбуждении повскакали с мест и окружили Леви и Маркуса. Они назвали имя своего кандидата. Стоявшие ближе к ним крикнули его другим, и через минуту имя облетело весь зал: Давид Литвак, Давид Литвак.

– Тысяча чертей! – воскликнул Кингскурт.

– Не известить ли его об этом телеграммой? – взволнованно сказал Фридрих.

– Нет. У него и без того теперь достаточно волнений. Кто еще знает, чем это кончится. Мы лучше сейчас же поедем в Тибериаду. Ко времени окончания выборов, мы уже будем там. Мы войдем в дом и спросим: здесь живет Литвак, президент Новой Общины?

Они посвятили Решид‑бея в свой план, и он обещал им об исходе выборов немедленно телеграфировать в Тибериаду.

В клетке обезьян шло состязание в плоских и пошлых шутках и остротах. V

Когда Кингскурт и Фридрих вернулись в отель, то не застали уже там жены Давида. Она уехала тотчас вслед за мужем. Кингскурт и Левенберг уехали в Тибериаду ближайшим экспрессом.

В вагоне между ними опять завязался оживленный разговор о всем перевиденном в возрожденной стране.

И у Фридриха вдруг вырвались изумившие Кингскурта слова:

– Я хочу поехать в Европу.

– Что вы, вы, взбалмошный чудак! Вам уже надоела страна ваших предков?

– Нет, мой дорогой Кингскурт. Я счастлив, что вы решили остаться здесь, и что я могу по крайней мере попытаться сделаться полезным членом Новой Общины. Быть может, я сумею как‑нибудь применить свои юридические познания! Но я хотел побыть некоторое время в Европе и убедиться, насколько там изменились условия жизни. Я не могу себе представить, чтобы за двадцать лет и там не произошли большие перемены. Меня навели на эту мысль слова академика Маркуса. Он сказал:

– Мы не государство, а большая артель…

– Артель с великими идеалами! – ухмыляясь добавил Кингскурт.

– Мне приходила в голову мысль, – серьезно продолжал Левенберг. – Не стоим ли мы здесь перед ответом на многие вопросы прежних времен. Тогда много говорили о будущих формах государственной жизни. И так называемые практичные люди эти проекты будущей жизни вышучивали, высмеивали, они забывали, что мы всегда живем в будущем, потому что сегодняшний день – будущее вчерашнего дня. Невозможное будущее государство мнилось лишь на невозможных развалинах существовавших доселе учреждений. Словом, для возможности желанных перемен, считалась необходимой катастрофа. Но тот же Маркус бросил недавно несколько слов, о которых я не перестаю думать – о преемственности вещей. Вовсе нет необходимости, чтобы гибло старое, для того, чтобы создалось новое. С тех пор, как я убедился здесь, как из старых материалов можно создать совершенно новое здание, я не верю больше ни в полное уничтожение, ни в полное обновление учреждений, я верю – как бы это сказать – в постепенную перестройку общества. Я думаю также, что таковая совершается не по программе, а случайно. Потребность – это строитель. На перемену полов, лестницы, стены, крыши, водопровода, освещения, решаются, когда является необходимость или побеждает новое изобретение. Но дом остается таким же, каким он был…

– Когда мы двадцать лет тому назад ушли из культурного мира, уже тогда мерцали новые формы жизни. Я понимаю юбилей первой железнодорожной линии. Это празднование начала новой эпохи. Границы остались неизменными, но люди и предметы производства стали перевозиться по всему миру. К чему только ни привели машины и железные дороги!

– К другим экономическим, к другим финансовым условиям. Старое еще жило, и рядом с ним пробуждалось к жизни что‑то новое. Артель слабых, сильных – мы знали и то и другое. Почему бы и артелям не объединяться, если это могли делать отдельные фабриканты?..

Уже и прежде разумные предприниматели добровольно принимали на себя заботы о своих рабочих и их семьях. Каждая большая фабрика имела свои благотворительные учреждения. Синдикаты могли, если хотели, лучше обставлять своих рабочих, нежели одинокий фабрикант. Я знаю это из ваших же рассказов, мистер Кингскурт. Вы познакомили меня с американскими трестами.

– Совершенно верно. Но что же из всего этого следует?

– Я думаю, что производительная артель, уничтожившая единичные предприятия, была необходимая переходная форма развития… Основной капитал был вначале слабой стороной этой артели, но возможность организовать контингент потребителей, была ее сильной стороной, и артели должны были расти с общим ростом культуры. Я думаю, наконец, что влияние больших трестов было благотворное, потому что они проложили путь к организации труда. Артели должны были образоваться по типу трестов, Новая Община на мой взгляд не более как синдикат артелей.

– Вы хотите быть может сказать, что такая общнна и в другой стране была бы возможна?

– Да, несомненно. Такая новая община везде могла бы существовать, в каждой стране, да, в каждой стране могло бы существовать небсколько таких артелей. Переход к такой экономической форме возможен, когда существуют артели и синдикаты. Но для этого вовсе не необходимо уничтожение прежнего государственного строя: он существует и обеспечивает развитие новой общины, которая в свою очередь служит ему поддержкой. Это преемственность вещей, и я верю в это…

Они приехали в Тибериаду. С вокзала они отправились прямо на виллу старых Литваков. Слуга, встретивший их у подъезда, на вопросы о здоровьи матери Давида, ответил только грустным вздохом. Кингскурту он передал только что полученную на его имя телеграмму. Кингскурт вскрыл ее, бросив Фридриху значительный взгляд и прочитал:

«Давид Литвак большинством 363 голосов против 32 выбран президентом Новой Общины». Они быстро поднялись по лестнице и вошли в комнату, смежную с комнатой, где лежала больная. Двери были открыты, и они могли видеть больную, ее бледное лицо едва выделялось на фоне белых подушек, но она еще жила. Ее кроткие глаза с невыразимой любовью смотрели на детей, которые стояли подле нее и тихо разговаривали с ней.

Кингскурт молча протянул телеграмму старому Литваку. Тот безучастно взял ее, взглянул на нее и внезапно вздрогнул всем телом. Он протер глаза и опять прочитал. Затем он дал ее жене Давида и дрожащим голосом сказал:

– Сара, прочти мне это…

Сара пробежала телеграмму глазами и зарделась ярким румянцем, на глазах ее выступили слезы, и она сдавленным голосом прочитала телеграмму старику, потом вскочила, подбежала с бумажкой к дверям смежной комнаты и вызвала оттуда Давида. Давид осторожно и тихо шагая, вышел в гостиную. Заметив в глубине комнаты Кингскурта и Левенберга, он молча кивнул им головой и, повернувшись к Саре, спросил:

– В чем дело?

Отец его встал и нетвердыми шагами подошел к нему.

– Давид, сын мой… Давид! – Жена протянула ему телеграмму. Он равнодушно прочитал ее и нахмурился.

– И вздумалось же теперь Решиду шутить. Мне, право, совершенно не до того.

– Это не шутка! – сказал Фридрих и сообщил все, что знал о ходе выборов.

– Нет! нет! – ответил Давид. – Это невозможно. Я даже кандидатуры своей не выставлял. Я этого и не добивался.

– Вот потому именно вас и выбрали! – сказал Кингскурт.

– Но я для этого совершенно не гожусь. Есть много других, достойнее меня. И я не приму этой чести; пожалуйста, телеграфируйте доктору Маркусу, что я отказываюсь.

Но отец его твердо сказал:

– Нет, Давид, ты не откажешься! ты должен согласаться – матери ради! Это последняя радость, которую ты можешь доставить ей.

Давид закрыл лицо руками. Из комнаты больной вышла Мириам.

– Что случилось? – спросила она. – Мать волнуется, она хочет знать, в чем дело.

Они подошли к кровати умирающей.

– Мать! – сказал старый Литвак, – доктор Левенберг принес нам добрую весть.

– Да? – чуть слышно прошептала больная. – Где он? Я хочу его видеть. Позовите его сюда.

Врач позвал из гостиной Фридриха, а Давид и Мириам приподняли мать и обложили ее подушками. Когда Фридрих приблизился к ее кровати, она ласково взглянула на него и прошептала:

– Я… я тотчас же подумала.. еще тогда… когда вы на балконе… там… дети… – Она провела рукою в воздухе. – Мириам мне ничего не сказала… Но мой… видит… Дети! Вы… вы должны… Дайте руки… друг другу… я вас благословляю.

И Мириам и Фридрих протянули руки друг другу. Но они сделали так медлительно и смущенно, что это не ускользнуло и от умирающей; она тоскливо взглянула на них и спросила:

– Или… или…

– Да, да – сказал Фридрих и крепко пожал руку девушки.

– Да! – тихо повторила Мириам.

Умирающая мать нашла еще в себе силы устроить счастье своих детей.

Она опустила голову на подушки, обессиленная волнением. Грудь ее едва заметно поднималась. И старик вздрогнул при мысли, что она может уснуть, прежде чем он успеет сообщить ей про избрание Давида в президенты.

– Мать! – громко крикнул он. Она подняла ресницы. И во взгляде ее пробежало как будто сожаление о том, что нарушили ее прекрасный сон, ее грезы, которые она хотела унести в другую жизнь.

– Мать – крикнул старик. – Знаешь, кто теперь президент Новой Общины? Наш Давид – президент! Наш Давид, мать!

И Давид опять стоял на коленях перед больной матерью, как тогда, когда был маленьким и горько рыдая, целовал ее холодеющие руки. Но она высвободила свою руку и кротко провела ею по его волосам, словно утешая его.

– Мать! – с тоскою повторил старик. – Ты слышала?

– Да! – прошептала она, – мой… мой Давид… И глаза ее сомкнулись,

……………………………………………………………

Ее похоронили.

Над могилой ее пели древнееврейские гимны, и старый рабби Самуэль из Нейдорфа читал молитвы. Надгробных речей не было. Давид этого не хотел.

Но когда он вернулся с кладбища домой со своими друзьями, он сам заговорил:

– Она была моей матерью. Она была для меня любовью и страданием. Любовь и страдание воплощены были в ней, и у меня затуманивались глаза каждый раз, когда взгляд мой останавливался на ней. Я больше не увижу ее, мою мать. Она была домом нашим и родиной нашей, когда у нас не было еще ни своего угла, ни родины. Она поддерживала нас в несчастьи, потому что она была любовью. Она учила нас смирению, когда Бог помог нам, потому что она была страданием.

В черные и светлые дни она была честью и гордостью нашего дома.

Когда мы были нищенски бедны и спали на соломе, мы все же были богаты, благодаря ее близости. Она думала всегда о нас и никогда о себе. В доме у нас было грустно и бедно, но он хранил сокровище, какое редко можно найти во дворце. Это была она, мать. Она была благородная страдалица, страдание не сокрушило, но укрепило ее. Она казалась мне символом еврейства в его тяжелые времена. Она была моей матерью, и я никогда больше не увижу ее. Никогда, друзья мои! Никогда! И я должен мириться с этим…

Друзья слушали его скорбные излияния и молчали. Потом пришли еще несколько человек, близких к дому Литваков.

Д‑р Маркус заговорил о том, о другом. Ясно было, что он старается рассеять гнетущие думы Давида. Ему удалось навести разговор на возвышенную, серьезную тему.

Фридрих Левенберг, охваченный общим настроением, поставил вопрос, на который все присутствующие дали ответы.

Он спросил:

– Мы видим новую, счастливейшую форму совместного сожительства людей. Кто это сделал?

Старый Литвак сказал: «Нужда!»

Архитектор Штейнек сказал: «Вновь объединенный народ!»

Кингскурт сказал: «Новые пути сообщения»!

Доктор Маркус оказал: «Наука»!

Иоэ Леви сказал: «Воля!»

Профессор Штейнек сказал: «Силы природы!»

Английский пастор Гопкинс сказал: «Взаимная веротерпимость!»

Решид Бей сказал: «Самоуважение!»

Давид Литвак сказал: «Любовь и страдание»!

А старый рабби Самуэль торжественно встал и сказал: «Бог!»

## ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА.

…Но если не хотите, пусть будет и останется сказкой все, что я вам рассказал.

В этой книге, – скажут одни – больше фантазии, чем поучения! Больше поучения, чем фантазии – скажут другие,

Теперь, после трех лет работы, мы должны расстаться, дорогая моя книга, и долгий ряд мытарств тебя ждет впереди, тяжел будет твой путь, сквозь строй искажений и недоброжелательных споров пойдешь ты, как сквозь дремучий бор.

Но когда придешь к доброжелательным людям, передай им мой привет. Скажи им от моего имени, что и мечты заполняют время, которое суждено нам провести на земле. Мечта вовсе не так далека от действительности, как это кажется многим. Все деяния людские были некогда мечтами и в будущем мечтами будут вновь.